

ГОСУДАРСТВО В РЕВОЛЮЦИИ: ВООБРАЖАЕМЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируются важнейшие аспекты процесса, который принято называть революцией. В этом процессе государственность претерпевает трансформации, в которых государственный интерес как сущность государства побуждает и инспирирует через череду переворотов и трансформаций вырабатывать все новые формы, притом что сама эта сущность остается неизменной. Государственный переворот, диктатура, чрезвычайные положения и террор остаются основными этапами революционного преобразования, совершаемого в различных исторических условиях. Легальность как внешняя форма процесса сохраняет свое значение на разных этапах, меняя свои нормативные очертания. Легитимность же находится в постоянном поиске своего источника, завершая его опять-таки в границах государственности. Важным инструментом преобразований является насилие, поочередно принимающее облик «божественного», «мифологического», нормативного и обеспечивающее режим диктатуры (чрезвычайной ситуации, приобретающей хронический, перманентный характер) необходимыми средствами. «Суверенная» диктатура противопоставляется «комиссарской», а суверенное насилие, как правоустанавливающее, — насилию правоподдерживающему. Юридические аспекты революционного процесса представляются наиболее артикулированными и значимыми, что должно привлекать к ним внимание историков революционных событий и идей.

Ключевые слова: закон, легитимность, законность, легальность, насилие, террор, государственный интерес, государственный переворот, суверенитет, диктатура, демократия, монархия, управление, власть, публичность, право.

DOI: 10.17803/1729-5920.2017.129.8.009-042

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

«Государственный интерес» как политический фактор, существующий и действующий как бы вне времени и озабоченный прежде всего сохранением и стабилизацией вполне конкретного государственного образования, использует для этих целей самые разнообразные политические и правовые техники. В такую парадигму вполне вписывается также и феномен «государственного переворота», приводящего к смене форм и институций, но при этом

ориентированный на сохранение государственности как таковой. И именно переворот может стать началом более сложного и более глубокого общественно-политического изменения, которое принято называть «революцией». Конкретные исторические обстоятельства придают каждому из этапов этой исторической трансформации собственный специфический стиль, позволяя историкам находить и вкладывать в нее все новые и новые смыслы.

О «государственном интересе» говорили еще Аристотель в «Политике», Платон в «Законах» и Ксенофонт в «Киропедии», отмечая при

© Исаев И. А., 2017

* Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ
kafedra-igp@mail.ru
125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

этом, что это понятие включает в себя лишь те интересы, которые затрагивают устройство и форму государства. Юридические ссылки на «государственный интерес» (в русской правовой терминологии позднего Средневековья имела место формула «слово и дело государево») указывали на исключительность события или действия. В своем окончательном оформлении термин появляется у итальянских и немецких авторов в конце XVI в., у французских — в XVII в.

Сам по себе термин обозначал новый тип политической рациональности. С этой точки зрения «государство есть твердое господство над людьми», и именно в этой связи государственный интерес — это «специальное знание о средствах, способных основывать, сохранять и увеличивать такое господство», при этом предполагается, что интерес «в большей мере охватывает скорее сохранение государства, чем его расширение, и в большей степени его расширение, чем только его укрепление как таковое» (Л. Дзукколо).

В XVI в. это представление становится совершенно новым типом политической рациональности. Государственный интерес оказывается самой сущностью государства и одновременно специфическим знанием о нем. Его цель и объект — само государство, и за его границами остаются всякие сверхгосударственные, сверхземные и трансцендентные феномены: искусство управления и государственный интерес здесь уже не создают метафизической проблемы «идеала», а история представляется по-настоящему бесконечной, исчезает средневековая идея «вечной империи», ее сменяет идея уравновешенного многообразия, «бесконечного управленчества» (М. Фуко), и даже государственный переворот ставит своей целью всего-навсего сохранение и продолжение государственности.

Государственный интерес в одинаковой мере оказывается и мотивацией стабильности политической формы, и комплексом норм и мер, обеспечивающих саму эту стабильность. Идея непрерывного существования государства (по-новому воспринятые мифологемы «вечной поднебесной империи», «тысячелетнего рейха» и т.п.) продолжала питать ощущение исторической континуальности, тем самым обеспечивая и государственную цельность. Полностью сосредоточившись на себе самом, государство осознает и формирует свой особый «государственный интерес». И именно

в нем выражается автономность государства по отношению как к конкретному властителю, так и к обществу, из которого оно выросло и которое стремилось подчинить себе.

Такая позиция подкреплялась формированием соответствующих структур и институций, а более четкое разделение функций властвования и управления обусловило новую динамику отношений государства и суверена, при этом в ней отмечалась постоянная тенденция к захвату суверенитета самим государством, создававшая разнообразные политические напряжения: предельной формой их могла стать только революция.

Государственный интерес уже в XVII в. озаменовал собой в обозримой исторической перспективе отказ от веры в грядущее объединение всех земных государств в пределах единой «последней империи»: ведь государства — это только исторически ограниченные образования, поэтому и государственный интерес оказывался связанным прежде всего с отстаиванием суверенитета конкретного государства и обеспечения его безопасности. Заодно государственный интерес в принципе порывал с христианской и юридической традициями управления, с приоритетом божественного, природного и даже человеческого закона: Вестфальские соглашения 1648 г. ориентировали и юридически связывали эту категорию политического с перспективой преумножения именно тех элементов сил, которые составляли собственную мощь государства.

В течение XVI—XVII вв. государство уже неоднократно пыталось вообще исключить «политику», как ее понимали античные и ренессансные авторы, из обращения, поступательно заменяя ее «государственным интересом», появившимся сперва только в качестве метафоры, и эта новая категория, несмотря на свою неопределенность и расплывчатость, вскоре обретает свою «телесность». (Характерная для барокко любовь к созданию искусственных миров и пространств, проявлялась в споре «древних и новых» (Буало против Перро), когда вневременное было побеждено относительным и конкретным: актуальность государственного интереса, абсолютизированного в идеологии эпохи Людовика XIV, преодолевала архаизмы политического мышления, связанного с античными образцами.) Бурбоны и Стюарты, практически узурпировавшие власть, утвердили представление, согласно которому государство формируется именно доблестью, политикой и надлежащими

браками королевских фамилий. Король естественным образом предшествует народу, являясь его творцом, и царствует независимо от общественного согласия. Боссюэ объявил преступлением всякое сопротивление королевской воле, и Гоббс был уверен, что власть всегда права. Даже Паскаль считал нелепостью перемену законов и отстаивание идеальной справедливости в противовес реальной силе¹.

Политическое (в классическом аристотелевском смысле) рождалось одновременно с «государственным интересом». Однако, если политика была направлена на «достижение некоего общего блага и поэтому сразу «объемлет все тело государства», то «государственный интерес» как более узкое и частное проявление, касается по преимуществу только тех, кто государством управляет». При этом «все то, что относится к «государственному интересу», всегда можно подвести под законное основание, — ведь и те деяния, которые осуществляются во имя «государственного интереса», могут равным образом совершаться и во имя закона».

Однако государственный интерес преимущественно все же сводился к знанию средств, пригодных для учреждения и сохранения устройства государства: «Если форма будет благой, то и соответствующий ей государственный интерес будет справедливым»²: в благих государствах он олицетворяет благоразумие, в дурных — только расчетливую предусмотрительность. При этом сам интерес достаточно индифферентно относится к любым этическим оценкам государственности. Его роль цементирующего государственное единство центра представляется выше любых изменчивых политических целей. Политика плюралистична, государственный интерес монистичен, он существует на более глубинном уровне: его цель — сохранение государственности вообще, а не какой-то отдельной ее формы. (Цинический прагматизм Макиавелли, хотя и не выходил за рамки текущего политического, однако в оценке «государственного интереса», его непререкаемости и позитивности даже этот автор проявил необычное для него уважительное отношение.)

В своих действиях даже трансцендентная по своей сути благодать опирается на природу. Но зло и демонизм также являются историческими деятелями: они-то и создают напряжения, которые сами по себе есть проявления несовершенства: к числу таких источников относятся деспотизм, тирания, абсолютизм. (Здесь налицо явное вырождение самой государственной жизни как характерная черта эпохи: сословные извращения, извращения народовластия, революции³. Однако отклонения от блага и справедливости в своей деятельности иногда допускают даже и «правильные государства»).

С целью избежать вредоносных олигархических превращений и влияний Г. Спенсер и Дж. Ст. Милль предложили утвердить в политической теории некий новый «арифметический» принцип, на котором, как они полагали, зиждилась вся политика, полагая, что только численность должна быть единственным «судьей во всех решениях, которые принимает государство». (Аристократическая оппозиция возражала, подчеркнув, что деспотизм большинства — нелепость и что логика требует, чтобы миром управляли «более интеллигентные, правда, всегда находящиеся в весьма ограниченном количестве»⁴.)

«Государственный интерес» как принцип может быть приведен в действие еще до того момента, как появится некий олицетворяющий его персонифицированный правитель: так, Цезарь еще до того, как ввести тиранию в Рим, уже пользовался средствами и способами, служащими на благо тиранического государственного интереса. Идея государственного интереса питала и политику государственной экспансии. Сам акт устройства государства традиционно предполагал перспективное расширение его границ, и каждое новое приращение территории осуществлялось в соответствии именно с интересами самого государства, так же как и процесс наделения его новой формой.

Но государственный интерес как принцип чаще всего прибегал лишь к тем средствам и способам действия, целью которых были учреждение и сохранение частных и конкретных форм государства: по своему существу он от-

¹ Акстон Дж. Очерки становления свободы. М., 2016. С. 111—112.

² Дзукколо Л. Государственный интерес // Иванова Ю. В., Соколов П. В. Кроме Макиавелли. М., 2014. С. 196—199.

³ Шпанн О. Философия истории. СПб., 2006. С. 346.

⁴ Сегеле С. Преступная толпа. М., 1998. С. 111.

носятся «не к республике, тирании, царскому правлению или же олигархии и аристократии как таковым», он относится только к тем ближайшим отличиям, которые отделяют один вид государственного правления от другого исключительно по его форме. «Хотя одни и те же способы управления применяются во многих видах государств, интересов государства они касаются лишь постольку, поскольку служат тому конкретному и индивидуальному виду государства, который следование этим интересам позволит основать или сохранить»⁵. (Развивая мысль своего ренессансного земляка, Бенедетто Кроче заметил: если сам суверенитет не исчезает и не превращается в ничто, то тогда становятся ненужными и спекулятивными разделение государства по численности управляющих лиц, а также традиционное деление на монархию, аристократию и демократию. «Трехчастность имеет скорее философский смысл, ибо выделяет три момента политической жизни: сотрудничество, где желательно участие всех, совет немногих избранных, или аристократию; решение, которое принимает один»⁶.)

Аристотель подчеркивал: если тиран имеет в виду собственную пользу, то истинный царь соблюдает пользу подданных: тиран соблюдает законы лишь до определенного момента, пока они не начинают его стеснять, когда же формальное соблюдение законов угрожает устройству его государства, деформируя и разрушая его, тиран ниспровергает закон, попирает справедливость и во всем руководствуется только государственным интересом.

Но случаи, подпадающие под юрисдикцию законов, бесчисленны, а виды государственных интересов в принципе немногочисленны, поэтому тиран преследует собственные цели, а «невежественной толпе его деяния кажутся благими и справедливыми. (И все же именно крайняя демократия, как полагал еще Плиний Младший, есть наихудшая форма правления, так как при ней и государственный интерес, и законы, и все институты и правила гражданской жизни в большей степени направлены на соблюдение частных интересов, чем на достижение общего блага.) «Полное совершенство может быть достигнуто лишь в благих намерениях и воображении, поэтому вполне

приемлемой кажется форма, в которой нет явного расхождения между законами и соображениями государственного интереса». Однако и в «дурных государствах» государственный интерес выполняет ту же функцию, что и в хорошо управляемых — учреждение и сохранение существующей формы правления»⁷.

Интерес имманентно присущ самому государственному существованию и подобен инстинкту самосохранения у человека (не случайными были размышления о сходстве человеческого и государственного организмов), интерес сохраняет свое значение при любом изменении политической формы, поскольку сам возникает еще до ее рождения. Учитывая тот факт, что политическая форма, хотя и создается доконституционным, но все же конституирующим решением, которое в любой момент может быть наделено реальной законностью и правомерностью (К. Шмитт); она и приобретает некое пространственное измерение, выступая как пространственная метафора власти. (Характерно, что воспроизведение форм правления в пространственном измерении происходит, как правило, не в центре, а на периферии; благодаря этому центр каждой из этих форм в течение долгого времени остается без существенных изменений.) Поэтому государственный интерес «правильных государств» в форме «благоразумия» (а не «предусмотрительности», как у тирании) нередко порождает двусмысленное «смешанное благоразумие», также включающее в себя некоторые хитрости и уловки, используемые при дворах государей, когда тем приходится решать наиболее важные дела государства.

Но справедливость, добродетель и порядочность суверена следуют совсем иным путем, чем те же достоинства, наличествующие у частных лиц, им свойственны больший масштаб и свобода совершать действия, «которые могут показаться даже незаконными» (Людовик XI говорил: «Кто не умеет действовать скрытно, не умеет и управлять»). И все же эти действия бывают чаще всего основаны на правилах и максимах хорошего управления, находящихся в распоряжении государства. Габриэль Нодэ предупреждал, что такие приемы не следует называть «тайнами государственного управления,

⁵ Дзукколо Л. Указ. соч. С. 203.

⁶ Кроче Б. Политический смысл // Антология сочинений по философии. СПб., 1999. С. 108.

⁷ Дзукколо Л. Указ. соч. С. 206—208.

арканами власти или государственным переворотом», поскольку эти определения обычно используются только для экстраординарных действий (Нодэ в этой связи критикует Клапмария, который рассматривал «тайны власти» как действия, поддерживающие авторитет правителя и общественный порядок, при этом «не переходя границ общего права»). Так, монархическое государство должно располагать необходимыми средствами и планом, чтобы противостоять свойственному столь многим стремлению к господству и превращению в аристократию; государства других форм принимают меры, чтобы не допустить народного правления и не превратиться в демократию, а государство демократическое стремится уберечься от возвратного превращения в монархию⁸.

(«Монархия, безусловно, есть правление, дающее наибольшие отличия наибольшему числу лиц. Суверенность при этом образе правления обладает достаточным блеском»; в республике же суверенность совершенно неосознаема и ее величие нельзя передать кому-либо. «Царь как воплощение закона» — вот формула, складывающаяся из трех логических шагов: «царь — самый справедливый», а значит, и самый приверженный закону; справедливость возможна и без закона; справедливое — законно, и суверен, ставший причиной справедливого, есть живое воплощение закона. Если же суверен есть живое воплощение номоса, тогда аноμία и номос непрерывно совпадают в его лице, следствием является разделение закона на два вида: живой и писанный, — первый ассоциирован с сувереном, второй — с чиновником; закон противопоставлен букве⁹.)

Отклонения от идеальной политической формы или хотя бы от аристотелевского стереотипа происходят под действием «государственного интереса». Этому способствуют врожденный государственный эгоизм и исторические обстоятельства: правовые нормативы уступают место политической прагматике, система подвергается трансформациям, которая становится все более радикальной. Целесообразность начинает превалировать над законностью, и на этом фоне все отчетливее выделяется фигура

суверена, т.е. того, кто только и способен на введение чрезвычайного положения, и власть уже не замечает законов. (В процессе более четкого артикулирования понятия государственного интереса появляется и более точное представление о «полиции как рациональном механизме поддержания порядка». Первоначальная многочисленность функций полиции сужается до небольшого круга регулятивных мер, призванных путем легального насилия внедрить порядок в общественное целое. Кажется, что именно здесь скрывается консервативный охранительный характер государственного интереса.)

Необходимость как политический фактор — это, по сути, метафизическая категория, опирающаяся на представления о закономерности, как о столь же субъективном понятии. Но, совершая логический переворот, необходимость очень скоро становится настоящим императивом, предписанием, обязательством. (О закономерности вообще как метафизическом явлении рассуждал Анри Пуанкаре: «Закон как отношение между условием и следствием одинаково позволяет нам выводить как следствие из условия, т.е. увидеть будущее, так и условие — из следствия, т.е. заключать от исходящего к прошедшему»¹⁰.)

По Гегелю, любой деспотизм означал только состояние настоящего беззакония, в котором именно особая и частная воля (монарха или народа) приобретает силу закона. Суверенитет же, напротив, «составляет в правовом, конституционном состоянии моменты идеальности особенных сфер и функций, подчеркивая их зависимость от определенной цели целого... которое определяют как благо государства». И здесь как раз и заключен настоящий государственный интерес, когда государь представляет само всеобщее, цельность, особый момент и функцию целого, а его главная задача — представлять непрерывность государства, мнимо биологическую». Монарх — вершина формального решения: — «Народ, взятый без своего монарха и необходимого и непосредственного связанного с ним расчленения целого, есть бесформенная масса, которая уже не есть государство»¹¹.

⁸ Нодэ Г. Наука для государей, или политические соображения о государственном перевороте // Иванова Ю. В., Соколов П. В. Указ. соч. С. 226.

⁹ Цит. по: Агамбен Дж. Номо sacer. Чрезвычайное положение. М., 2011. С. 108—110.

¹⁰ Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 271.

¹¹ См.: Вейль Э. Гегель и государство. СПб., 2009. С. 109—114.

Мишель Фуко однажды заметил, что одновременно с появлением государственного интереса рождался и некий трагизм истории, связанный с самой политической практикой, и государственный переворот как некий «трагизм управленчества, не имеющего границ»: «При государственных переворотах мы сначала видим, как сверкает молния, а затем только слышим, как гремит гром». И «заутрени звучат раньше, чем их услышат, исполнение предшествует решению; получает удар тот, кто думает, что его нанес... все происходит ночью, во мраке, в тумане, в сумерках» (Ж. Нодэ).

На смену большим и успокаивающим обещанием политического «пастырства» приходит «театральная и трагическая жестокость государства, которое во имя своего спасения, всегда находящегося под угрозой, под сомнением, требует принять насилие как самую чистую форму государственного интереса»¹².

У государственного переворота, как политического, так и собственно военного, явно наличествует этот демонстративный и театральный характер. Переворот должен сразу узнаваться по своим истинным чертам, прославляя ту самую необходимость, которая его оправдывает. Конечно же, он предполагает и тайную сторону, необходимую для тактического успеха. «Но, чтобы привлечь сторонников и чтобы приостановка законов, с которыми он сам неизбежно связан, не была отнесена на его счет, необходимо, чтобы государственный переворот разразился воочию, и на той же самой сцене, где разразился он, вместе с ним выступил бы и государственный интерес, который его вызвал».

Переворот не скрывает свои методы и приемы, но должен торжественно заявить о себе «в своих последствиях и в основаниях, которые его поддерживают». Отсюда необходимость инсценировки. Все это делает государственный переворот удачной возможностью для суверена продемонстрировать вторжение государственного интереса и его преобладание над законностью, возможностью как нельзя более зрелищной¹³. Поэтому публичность и становится величайшим формирующим средством для государственного интереса: и только благодаря публичности впервые возникает настоящее

живое отношение к государственному интересу, и общественное мнение, которое, по Гегелю, есть «неограниченный способ познания того, чего народ хочет и мнит»¹⁴.

Посредством публичности и сопровождающей ее дискуссии предполагалось упразднить фактичность власти и «голового» насилия. Габриэль Нодэ, автор XVII в., пояснял, что государственный переворот подчиняется не «всеобщему, естественному, благородному и философскому правосудию», но только частному, неестественному, политическому правосудию, связанному с прагматической «необходимостью государства». Ведь политика не является чем-то таким, что включается во внутреннее содержание законности или системы законов. Политика есть нечто, имеющее прямую связь с необходимостью, даже если она и использует законы только в качестве инструментов. Поэтому Нодэ определяет «государственный переворот» как «решительные и экстраординарные действия, к которым государи вынуждены прибегать в трудных и почти безнадежных ситуациях, нарушая при этом общее право и не пытаясь сохранить даже видимость справедливости, и ставя на кон интересы частных лиц ради общего блага».

Но эти действия все же следует отличать от актов проявления государственного интереса («максим», как определяет их Нодэ), деклараций и разных способов легитимирования еще не совершенных практических действий: «Государственные перевороты всегда подобны грому среди ясного неба — наказание предшествует приговору»: здесь лежит царство богини Лаверы, и первая милость, о которой молят ее почитатели, — «дай обмануть мне» (Гораций).

Но государственный переворот, несомненно, содержит в себе и некоторый элемент настоящего, легального правосудия и справедливости; и различие лежит между тактическими доводами государственного интереса и переворота: в том, что для переворота они объявляются публично и в момент перед тем, как начать действовать, а для второго характерна таинственность, чтобы о его подготовке не было известно до самого конца¹⁵. (Военный переворот не нуждается в легализации в мо-

¹² Фуко М. Безопасность, территория, население. СПб., 2011. С. 348—349.

¹³ Фуко М. Указ. соч. С. 346—347.

¹⁴ Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 209.

¹⁵ Фуко М. Указ. соч. С. 344.

мент своего совершенства, но сразу же проявляет заботу о легитимации после своей победы. Внутри общества только армия образует по-настоящему «конституированные тела», отдельный мир, замыкающийся на самом себе и отличающийся от общества в целом. Это последнее слабо связывает между собой своих членов, не обеспечивая их ни смыслом существования, ни постановкой задач, и «только конституированные тела» предлагают (или навязывают) более «устойчивые» связи: они требуют, чтобы входящие в их состав люди связали с ними свою судьбу, и эта судьба становится смыслом существования для каждого¹⁶.)

Массы группируются и концентрируются вокруг центров, которыми в беспорядке революционной стихии обычно оказываются армия и парламент и которым внутренне присущи упорядоченность и регламент: от этих центров исходят нормативы, имеющие форму приказов и декретов. Это — островки порядка и специфической законности в мире беспорядка и аномии. Церковь и войско — две искусственные массы, в отношении структуры и форм которых с целью их сохранения необходимо применяется внешнее насилие. Но с исчезновением привязанности к вождю исчезают и взаимные привязанности индивидов, составляющих массу. «Масса разлетается прахом» (Ж. Батай). В этой ситуации «группа ассоциаций олигархического характера» только и дает возможность поддерживать некий уровень демократии: для того чтобы общество было демократическим, вовсе «нет необходимости осуществлять демократическое правление внутри конституирующих его организмов» — с этой точки зрения даже феодальная система может быть определена как демократия.

(Промежуточные группы и институты на деле являются и частью тотального и централизованного механизма специализированного функционирования и одновременно оказывают противоположное воздействие, ограничивающее центральную государственную власть. Со временем эти локальности и промежуточные силы исчезали, уступая место демократическому авторитаризму¹⁷: Макс Вебер был уверен, что настоящие революции достигают цели

только в том случае, когда они приводят с собой и аппарат, который создает некое «контргосударство»¹⁸.) При этом государственная форма, которую предлагают и пропагандируют сторонники революции, часто оказывается заимствованной из опыта других государств или из устоявшихся подпольных форм организации власти, которые уже предшествовали революционному перевороту и строились внутри определенных социальных и политических образований (масонов, иезуитов, рыцарских и религиозных орденов): по выражению О. Кошена, этот «малый народ» переносит собственные политические формы и предпочтения на всю революционную нацию.

Государство — это всегда физическое и духовное пребывание «в форме» (Освальд Шпенглер), и это — чисто политическое единство действующих вовне сил, поскольку вся их внутренняя деятельность предназначена для того, чтобы укреплять силу и единство внешней политики: если же эта деятельность начинает преследовать другие, собственные цели, начинаются разложение, утрата государственной формы: государство и управление — это, по сути, одна и та же форма, требующая единства руководства, управления и авторитета. Начало революции поэтому, как правило, связано не столько с восстанием народа против абсолютизма (который в общем-то уже и не существует), а вследствие падения авторитетов: она есть только следствие, а современная республика есть не что иное, как свежие руины монархии, которая только что отеклась от самой себя¹⁹.

Государственный переворот довольно часто выглядит и оказывается весьма двусмысленным соглашением, которое заключают между собой конституция и диктатура, и первой жертвой переворота всегда становится именно парламент. В конечном счете такой переворот — это всегда осознанное или неосознанное действие самого государства: именно в борьбе властей обнаруживается настоящий источник мотивации и столкновения сил, рождающих переворот.

В политическом мышлении XVII в. государственный переворот на юридическом языке воспринимался уже как некая правовая, юри-

¹⁶ Батай Ж. Структура и функции армии // Коллеж социологии. СПб., 2014. С. 139.

¹⁷ Эллюаль Ж. Политическая иллюзия. М., 2003. С. 311—313.

¹⁸ Мюллер Я. В. Споры о демократии. М., 2017. С. 80.

¹⁹ Шпенглер О. Годы решений. М., 2006. С. 45.

дическая неопределенность, как бездействие законов и законности, как то, что очевидно превосходит общее право. Это — чрезвычайные действия, совершаемые вопреки общему праву, действия, которые не сохраняют вообще никакого правового порядка, никакой формы юстиции. Но и государственный интерес отнюдь не был однороден какой-либо стабильной системе законности или легитимности. И он позволял нарушать любые общественные, частные и даже фундаментальные законы, более того — подчинять их себе. Однако уже в силу своей природы государственный интерес, который по характеру своей волюнтарной природы не должен был подчиняться законам, тем не менее их соблюдал, полагая их в качестве конструктивного элемента своих собственных действий: «законная узурпация» всегда стремится к созданию юридически оформленного пространства своего существования.

Только законодательная власть, которую так легко было подтолкнуть к компромиссу и беспринципному сговору, и могла помочь увязать свершившийся факт с буквой закона, сделать революционное насилие частью конституционного порядка. Поэтому парламент — это необходимый, хотя и не добровольный его пособник. Согласившийся узаконить государственный переворот парламент тем самым подписывает себе смертный приговор. И все же факт существования парламента — «необходимое условие любого «бонапартистского» (или «катилининского») переворота: в абсолютной монархии были возможны лишь дворцовые заговоры или военные мятежи. А главное правило «бонапартистского» переворота и его тактики — необходимость сочетать применение насилия с определенным соблюдением законности: здесь и рождается это двусмысленное соглашение между «конституцией и диктатурой»²⁰.

Легальность же сама по себе при переходе от одной формы государственной власти к другой оказывается самой сильной законностью — тем, чем она первоначально и была. Республика — это режим настоящего закона, ее невозможно разрушить только противопоставлением права и закона, амбициозно подчеркивая право как более высокую ценность.

Республиканская легальность — единственная форма легитимности. Все остальное — правосудие, армия и т.д. — является для настоящего республиканца враждебными республике софизмами. Не существует суверенитета права помимо суверенитета закона — это объясняется децизионистской силой государства и государственным же превращением права в закон²¹.

Любой государственный переворот всегда оправдывается тем, что он направлен на благо государства: «Во вражде даже незаконно сделанное ищет своего права» (К. Шмитт). Поэтому государственный интерес оказывается неким основополагающим по отношению к законам явлением. И только государственная необходимость по отношению к самому государству в определенный критический момент подталкивает государственный интерес к тому, чтобы отринуть гражданские, нравственные, природные законы, которые он до этого момента признавал. Необходимость же исключает и набор этих естественных законов и порождает нечто совершенно новое, такое, что является прямым отношением государства с самим собой под знаком абсолютной необходимости и спасения: «Государство берется действовать само по себе, действовать быстро, непосредственно, без правил, с драматической неотложностью и необходимостью, — это и есть государственный переворот. И это — не присвоение государственной власти одними за счет других, это — самопроявление самого государства, все то же утверждение государственного интереса. Искусство государственного управления и государственный интерес уже не ставят здесь проблему некоего начала: «Имеется управление, значит, уже имеется и государственный интерес, значит, имеется и государство!»²².

НОРМИРОВАННОЕ НАСИЛИЕ

Хотя писанные законы всегда являются лишь «объявлением предыдущих реальных прав», нужно еще многое для того, чтобы все, что может быть написано, становилось таковым, поэтому всегда в любой конституции существует нечто такое, что не может быть записано, что

²⁰ Малапарте К. Теория государственного переворота. М. 1998. С. 78—80.

²¹ Шмитт К. Теория партизана. М., 2007. С. 127—129.

²² Фуко М. Указ. соч. С. 340—343.

необходимо оставить в «темной и почитаемой неясности» и под страхом свержения государства. «Законы же являются лишь заявлениями о правах, а права заявляются лишь тогда, когда на них наступают, так что множество писанных конституционных законов свидетельствует лишь о множестве потрясений и об опасности распада» (Ж. де Местр)²³: пламенный контрреволюционер подразумевал при этом под конституцией вовсе не текст и свод базовых норм, но некую духовную, интеллектуальную, экзистенциальную структуру, существующую вне и над таким текстом.

Понятие «государственный интерес» по возрасту значительно старше самой революции, которая походя разоблачила его как «идеологию»; следует учитывать также и то обстоятельство, что идея единой воли, некогда вершащей судьбы и представляющей интересы нации в целом, оказалась только интерпретацией той национальной роли, которую должен был сыграть просвещенный монарх, устраненный революцией. Кажется, что вся политическая теория Руссо строилась на отождествлении этой общей воли и государственного интереса: но у него воля — это только специфическая форма проявления интереса, связанная со свойственным сентиментализму того времени чувством сострадания к страждущим. Сен-Жюст восклицал: «Невозможно иметь истинную революцию и истинную республику до тех пор, пока в государстве есть бедные и несчастные». Несчастные — это силы земли, они имеют право говорить как хозяева с правительством, которое пренебрегает ими. Однако революция все же в ходе своего развития переходит из рук народа к новой революционной бюрократии, которая получила власть более абсолютную, чем у любого самодержца прошлого²⁴.

Ж. де Местр стал одним из первых, кто очень красочно нарисовал картину грядущей контрреволюции: «Господь, оставив за собой дело создания суверенитетов, тем самым предупреждает нас не доверять никогда выбор своих властителей самим массам. Он использует их в великих движениях, решающих судьбу империй, только как послушные орудия. Никогда толпа не получает того, чего хочет: всегда она принимает и никогда не выбирает».

Люди, которые в ходе революции казались настоящими тиранами толпы, на самом деле были подчинены совсем немногим субъектам, стоящим над ними, а те — только одному. И этот единственный, если бы он захотел раскрыть секрет своей силы, сам не смог бы этого сделать: «Его влияние есть еще большая загадка для него самого... обстоятельства, которые он не мог ни предвидеть, ни вызвать, все вершили для него и без него». Ни одна нация не способна сама установить себе правление, и только тогда, когда то или иное право уже фактически существует в ее «конституции», пусть в полузабытом или подавленном состоянии, только тогда всего лишь несколько человек с помощью обстоятельств смогут устранить все препятствия и заставить вновь признать «право народа». Человеческая же власть не простирается далее этого²⁵. Переворот только с Божьей помощью может спасти государство: де Местр был уверен, что и сама революция есть создание провидения, мстящего человечеству за его грехи. И она же несет с собой очистительное насилие. («Существование насилия за пределами права воспринимается самим правом как постоянная угроза» (Агамбен). Но где располагается такое насилие? Если Вальтер Беньямин говорил о чистом насилии, бесчинствующим вне рамок номоса, то Карл Шмитт пытался ввести насилие в сам правовой контекст, вписать возникающую аномию в самое тело номоса: для этого и воспроизводится такая форма власти, которая не устанавливает право, но только приостанавливает его действие — и эта суверенная власть выступает здесь неким пограничным понятием.)

По Шмитту, именно решение есть настоящая связь, соединяющая суверенную власть и чрезвычайное положение, у Беньямина суверенная власть напроць отделена от ее исполнения: суверен, который должен принимать решение о чрезвычайном положении («истинный суверен», по Шмитту), является лишь «тем местом, где разделяющий тело права разлом становится незаполняемым»: между властью и ее применением оказывается разрыв, который никакое решение уже не в состоянии заполнить. Чрезвычайное положение тогда из экстраординарного «чуда» превращается в на-

²³ Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М., 1997. С. 82—83.

²⁴ Арендт Х. О революции. М., 2011. С. 100—102 ; Доусон К. Г. Боги революции. СПб., 2002. С. 211—213.

²⁵ Местр Ж. де. Указ. соч. С. 132—135.

стоящую катастрофу, оно больше не является порогом, который гарантировал бы связь между внутренним и внешним, аномией и юридическим контекстом — оно становится зоной абсолютной неразличимости между аномией и правом, где сфера творения и правовой порядок вовлечены в один катастрофический процесс²⁶. Тогда на смену праву приходят гражданская война и революционное насилие, которые действуют уже без какого-либо правового обличья.

В своем обычном проявлении государственный интерес не является насильственным, поскольку он же сам и устанавливает для себя определенные законные основания и рамки. Но когда этого требует необходимость, он становится насильственным. Тогда государственный интерес демонстрирует «пастырство выбора», исключения, жертвуя «некоторыми ради всех остальных государств»: «чтобы сохранить справедливость в великом, необходимо иногда отклоняться от нее в малом». Насилие государства есть не что иное, как почти рефлексивное и внезапное проявление его собственного интереса: Боссюэ деликатно противопоставлял насилие, совершаемое «по согласию мудрецов», т.е. лоялистский государственный переворот, и «зверство», которое совершается исключительно по прихоти только частных лиц²⁷.

Уже целью Жана Бодена было стремление средствами юридического языка очертить locus суверенной власти и рационально на языке публичного права показать сочетание публичности и произвольности суверенного решения. В этой ситуации, как подчеркивал Нодэ, как раз и происходит удаление политической власти «во мрак неприступный»: магическое взаимодействие, о котором, ссылаясь на Тацита, говорили оба эти автора, явно заложено в самом механизме отношений власти с народом²⁸. «Во времена равенства люди, столь похожие друг на друга, не доверяют другому, но эта же схожесть склоняет их оказывать практически неограниченное доверие суждениям публики» (А. Токвиль): сочетание материального равенства и психологического импульса при любой

форме правления побуждает людей вручать власть массе: «массой становятся, именно предполагая равенство» (Э. Канетти).

Токвиль полагал, что все же лучшей чертой старого режима была пастырская по сути защита индивида от одиночества, от предоставленности самому себе, когда люди были вовлечены во «что-то важное вне самих себя» («малая родина», отношения патернализма, предки и потомки). Равенство и секуляризм разорвали эти связи. Равенство к тому же перерезало все «вертикальные связи долга и обязательств», разрушило ткань времени между прошлым, настоящим и будущим, изолировало индивида, и государство тогда вынуждено было вмешаться, чтобы заново установить прочную структуру власти, вновь соединяя людей: «В отчаянии от собственной свободы, в глубине своего сердца они уже поклонялись господину, который вскоре должен был появиться». (Национальные и патриотические герои, стихийная реакция темной теллурической силы, попадая под черное интернациональное и наднациональное центральное управление, которое поддерживает их в интересах «всемирно-агрессивных идей», утрачивают свой существенно оборонительный характер. Еще недавно бывший свободным «гражданин» становится манипулируемым орудием «всемирно-революционной агрессивности», и как иррегулярный боец он всегда зависит от помощи регулярных сил²⁹.)

Тотальность проявлений силы и есть сама сила. Против слабеющей либеральной веры в продуктивную политическую дискуссию уже в конце XIX в. выступила теория «прямого действия»: концепция Жоржа Сореля основывалась на философии Бергсона и традиции, идущей от Прудона и Бакунина. На место механически конструированной власти государства должно было прийти творческое насилие, но не как юридически и административно оформленная мера, а как воинственный и героический акт, основанный на мифе и вере, который вовсе может и не быть реальностью³⁰.

Революция создавала новых богов и новых героев. «Общая воля» позиционировала себя как суверена, законодатель становится новым

²⁶ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 88—89, 91.

²⁷ Фуко М. Указ. соч. С. 346—347.

²⁸ Иванова Ю. В., Соколов Н. В. Указ. соч. С. 8—9.

²⁹ Шмитт К. Теория партизана. С. 113.

³⁰ Шмитт К. Политическая теология. С. 247—248, 254.

творящим мир божеством. Из стихийных потоков революционного движения постепенно стали кристаллизоваться мифы и институты, призванные стабилизировать и преобразовать социальные структуры прошлого, волей судьбы оказавшиеся в центре хаоса. Институализация и социализация представлялись силами, только и способными положить конец революционному непредсказуемому энтузиазму, когда переворот следовал за переворотом в ходе самой же революции: в Новое время явно рождалась новая, национальная государственность, возникло государство как «регулирующая идея правительственного интереса».

Революция столь же абсолютна, как и отрицаемая ею государственность, ее бессознательный мистический предел — безвластие. Либеральная и демократическая идеи останавливаются лишь на фиксации неких подобий монархии или демократии, но не на чем-то абсолютном. (Доносо Кортес поэтому с большим уважением относился к такому врагу, как социализм с его абсолютистскими устремлениями, чем к половинчатому и невнятному либерализму). Последнее утверждение безвластия было уже ничем иным, как новым религиозным сознанием и действием, которое способно осуществиться только в ходе тотальной революции³¹. (Но лорд Актон полагал, что «национализм все же более перспективен, чем социализм, поскольку он более властен и деспотичен». Национализм отвергает демократию, полагая пределы воле народа и подменяя ее более возвышенным принципом. Национализм имеет важное предназначение — возвысить конечный конфликт, а значит, и отмирание двух сил, столь враждебных свободе — монархии и революции³². Теория «суверенной нации» утверждает, что характер, форму и политику государств определяют некие естественные силы, свободу же здесь замещают рок и судьба. Характерно, что патриотические чувства особенно ярко проявились как раз не в революции, а в сопротивлении ей, когда на смену республике вновь приходила империя.) Теория национального самоопределения откачивалась от двух принципов, слишком долго разделяющих политический мир, — от прин-

ципа легитимности, оставляющей без внимания национальные притязания, и от принципа революции, который с готовностью их принимает. Создавший же эту самую теорию абсолютизм отрицал еще и неотъемлемое право на единение, выработанное революционной демократией, и требования национального освобождения, непременно входящие в общее теоретическое понятие свободы³³.

Зато крайняя необходимость, не знающая закона и сама создающая его, становится источником права, уже готовым и первоначальным. В ней заключены первопричина и легитимность государства, возникающие в ходе революции, которые позже могли быть повторены, правда, в более смягченных формах. И наряду с революцией и фактическим утверждением нового конституционного порядка возвышается «чрезвычайное положение» как форма наиболее ярко выраженной крайней необходимости, «хотя и незаконная, но вполне правовая и конституционная» мера воплощения в производство новых норм. (Правовед-метафизик Санти Романо утверждал, что «существуют даже нормы, которые вообще не могут быть написаны». Революция есть фактическое состояние, которое «не регулируется государственными властями, разрушить и уничтожить которые сама она планирует и стремится».) Сама по себе она является антиправовым действием, пусть даже и справедливым. Это движение, ориентированное и управляемое каким-то собственным правом и юридически ориентированным насилием³⁴.

И в этой неопределенной неартикулированной зоне существования антиправовые действия становятся фактическим правом, а юридические нормы, напротив, превращаются только в индифферентные факты: реальность и право кажутся здесь неразличимыми, и за этим порогом неразличимости право и факт незаметно переходят друг в друга, теряя свои границы, — «из факта возникает право», и этот магический акт обещает революционному преобразованию вполне легальное существование. (В беньяминовском эссе о Кафке разоблачению мифически-юридического насилия со стороны чистого насилия в качестве остатка

³¹ Мережковский Д. Царь и революция. М., 1999. С. 60—61.

³² Актон Дж. Указ. соч. С. 181—182.

³³ Указ. соч. С. 161—162.

³⁴ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 48—49.

соответствует некий таинственный образ права, которое «уже больше не применяется, но только изучается», и которое поэтому не имеет ни силы, ни применения. Относительно этой формы Мишель Фуко говорил как о «новом праве», свободном от любой дисциплины и любых отношений с суверенной властью: такое право — не справедливость и правосудие, но лишь «врата, ведущие к нему: путь к правосудию открывает бездействие права, т.е. совсем другое его качество и применение»³⁵.)

Революция и эволюция — две взаимообусловленные идеи. Но революции не создают нового человека, они только «строят ему колыбель, в которой он воспроизводит себя в соответствии с определенным типом». И «едва ли есть в мире государство, чье начало можно было бы по совести оправдать» (Гоббс), «королевства покоряют отнюдь не законность или добропорядочность, но завоевания» (папа Пий III), и это указывает на незаконное или незаконное происхождение любого правительства³⁶: «сначала власть, потом право». Власть создает право, чтобы укрепить и легализовать себя, и революционная же власть делает это при помощи силы, поскольку другой легитимацией еще не обладает.

Вальтер Беньямин выделил в структуре политического насилия две его главные функции: правоустанавливающую, столь необходимую для достижения государственных целей (то есть непосредственно связанную с государственным интересом), и правоподдерживающую, когда принуждение выражено в насилии только как в средстве достижения правовых целей. (Правоподдерживающее насилие связано с некой угрозой для государственности, еще и усиленной ее неопределенностью: в связи с этим сам «закон оказывается таким же угрожающим, как сама судьба, — ведь именно от нее зависит, попадет ли преступник в ее сети»³⁷!)

Применяется насилие во благо или во вред, зависит от позиции наблюдателя: хотя насилие и не просто сила, но оно уж точно не справедливость. Добро обладает силой и, возможно, даже большей, чем зло, но при этом со стихийным злом его объединяет столь же стихийное

насилие. Оно присуще любой силе и пагубно для любых форм политической организации (Мелвилл): «Необузданная сентиментальность революции сделала ее невосприимчивой к реальности». — «Все дозволено тем, кто действуют в соответствии с духом революции» и «ничто более не походит на добродетель, чем великое преступление» (Сен-Жюст) — и именно из неуместного определения сердца как источника политической добродетели вырастает атмосфера всеобщей подозрительности: перенося конфликты души в политику, их делают совершенно неразрешимыми. (Всякий раз, когда мы сосредоточиваем внимание на способах сокрытия, подмены, объяснения действительного характера действий, мы непременно находим «деривации»: сами же «деривации» (бездоказательные верования) обретают свою силу именно из чувств, а не из логических аргументов (В. Парето), поэтому лозунг «голосуй сердцем!» не так уж безопасен.

С точки же зрения самого насилия, которое полагает, что только оно и может по-настоящему «гарантировать право», реального равенства вовсе не существует. В лучшем случае есть только равное по величине насилие (В. Беньямин).

Функция насилия в процессе правоустановления двоякая: правоустановление является тем, что в действительности применяется как право, и в таком случае насилие используется только как средство: «от имени власти правоустановление утверждает в качестве права никак не цель, свободную и независимую от насилия, а цель, которая от этого насилия по необходимости и глубоко зависит». Акт правоустановления тем самым оказывается актом установления власти, поэтому оно и есть открытый акт манифестации насилия и не более того: «Справедливость же — суть принцип любого божественного целеполагания, власть же — принцип любого “мифического” правоустановления»³⁸.

Политические мифы, как известно, питаются воображением, надеждами и эмоциями. Разум только искажает и притупляет их пафос. Провозгласив справедливость и равенство, революция делает это в порыве энтузиазма.

³⁵ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 99—100.

³⁶ Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М., 2002. С. 38—39.

³⁷ Беньямин В. К критике насилия // Учение о подобии. М., 2012. С. 74—76.

³⁸ Беньямин В. Указ. соч. С. 88—89.

Ее же настоящей целью является взятие власти, а обещания являются только средствами. Правоустанавливающее насилие само наделяет право статусом власти, тогда как «чистое» революционное насилие разрывает связь между правом и насилием и оказывается не силой и насилием, которое чем-то управляет или нечто важное исполняет, а лишь насилием, которое только действует и проявляет: поэтому настоящее различие между чрезвычайным положением и революционным насилием и скрывается в этом разрыве связи между насилием и правом³⁹. На пути от инквизиции к королевскому политическому правосудию, а от него к революционным трибуналам происходит только непрерывный рост произвола, применения силы и укрепления власти. Жорж Сорель различал сразу три уровня реализации политического насилия: на нижнем находится насилие рассредоточенное, похожее на жизненную конкуренцию, за ним следует «ориентированная и концентрированная сила государства». Наконец, существует и насилие в собственном смысле слова, которое и «составляет главный предмет истории»⁴⁰.

Поляризация общества по мифологической схеме «друг — враг», с ее четкой демаркацией, наполняет общество дополнительной энергией напряженности и тем самым «решает его историческую задачу», как полагал Ж. Сорель. «Насилие, если оно позволяет себе помедлить, становится властью» (Элиса Канетти). Власть же всегда «пространнее» насилия, в нее входит значительно больше исторического пространства и времени. И власть напрямую связана с «государственным интересом», насилие же чаще всего — только с государственным переворотом, и если власть ищет легитимности, то насилие — только результата. Зато любое правоподдерживающее насилие, в отличие от правоустанавливающего, путем подавления враждебного ему контрнасилия подрывает уже представленные в нем самом элементы правоустанавливающего насилия: и это происходит еще до того момента, когда новое или ранее подавляемое насилие не одержит победу над правоустанавливающим насилием и тем самым не установит новое право.

«Революционное насилие становится возможным», если насилию будет гарантировано его существование по «ту сторону права» в чистой и непосредственной форме; поэтому с уверенностью можно говорить всегда только о некоем «мифическом» насилие, а не о божественном, поскольку мифическое проявляет себя гораздо более отчетливо (В. Беньямин). «Предосудительным, однако, будет любое правоустанавливающее “мифическое” насилие, которое может быть названо распорядительным; предосудительно также и правоподдерживающее, управляемое насилие, которое служит первому. Божественное же насилие, которое является только “законом и печатью”, но никогда средством священной кары, вполне только и можно назвать по-настоящему властвующим»⁴¹.

Легенда может породить легитимность, а легитимность может быть легендой. Именно религиозная или мифическая вера в революцию, революционный миф была одним из ее главных мотивов и орудий. («Никогда провидение не было так осязаемо, как тогда, когда высшая сила подменяет собой силы человека и действует сама по себе» (Жозеф де Местр); и никогда Робеспьер даже не помышлял об установлении революционного правительства и террора — к этому его незаметно привели сами обстоятельства: и все те, кто призывал революцию, сами позже становились ее жертвами. Но ничто другое не влекло за собой столь ужасных последствий, как преступное посягательство на суверенитет. Поэтому и вся нация в той или иной степени оказывается виновна в том, что какое-то малое число мятежников в состоянии совершать насилие от ее имени⁴².)

«Мифическое» насилие — только воображаемое средство установления «царства закона», тогда как божественное насилие, для того, чтобы восстановить равновесие справедливости, вовсе не пользуется никакими средствами: оно — просто есть знак несправедливости мира, при этом божественное насилие — во все «не подавленный беззаконный источник законного порядка»: как и якобинский революционный террор — не просто «темная исходная точка» буржуазного порядка как «герои-

³⁹ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 48.

⁴⁰ Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 2013. С. 111.

⁴¹ Беньямин В. Указ. соч. С. 94—95.

⁴² Местр Ж. де. Указ. соч. С. 14—23.

чески-преступного учреждающего государства насилия». Его, это насилие, следует отличать и от суверенности государства как исключения (согласно веберовскому определению), которое кладет основание закону, и от чистого «голового» насилия, как взрыва анархии.

Переход от божественного насилия к «мифическому» определили и Дантон, полагавший, что революционный террор был только упреждающей акцией, целью которой было предотвратить прямое «божественное» насилие народа, и Робеспьер, заявивший: «Народы судят не как судебные палаты»; не приговоры выносят они, они мечут молнии, они не осуждают королей, они вновь повергают их в небытие, и это правосудие стоит правосудия трибуналов». «Революция выступает здесь как явное преступление и не скрывает этого, как сила, разрушающая другое преступление»⁴³. Воображаемые преступления вообще имели для революции особенно большое значение еще и потому, что «политические трибуналы действовали среди обезумевшего от страха населения» (Ж. Сорель). И если «мифическое» насилие было, по сути, правоустанавливающим насилием, то божественное — правополагающим; если первое устанавливало некие пределы, то «второе их беспощадно разрушало»; если «мифическое» насилие вызывало «вину и грех», то второе разило: если первое кровавое, то второе «смертельное без пролития крови»⁴⁴. Первое требует жертв, второе их с готовностью принимает.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Революция вся наполнена воображаемым. Мифы побуждают строить самые фантастические планы и решаться на самые крайние меры. Все, что есть в мире самого радикального — пророки, секты, террористы, — примыкает к ней по окончании недолгого периода умеренности и утопического прожектерства, отмечаемого на начальном этапе.

Первоначально само слово «революция» являлось астрономическим термином, и в политическом лексиконе оно появилось именно как понятие «реставрации», сохраняя это значение

и смысл вплоть до конца XVIII в. Да и на практике все революции начинались не иначе, как реставрации и обновления, а уже пафос революционного созидания чего-то нового рождался позже, только в процессе самих революций. Задача создания нового потребовала выстроить и установить необходимое законодательство и новый авторитет, способный заменить старый, абсолютный и утверждаемый религией. Поэтому и Макиавелли столько внимания уделяет насилию — что позже стало практикой для людей революции, дабы сформировать некие основополагающие принципы⁴⁵: политика стремилась ввести новую форму в государство, будучи уверенной, что осуществляет только улучшение существующего порядка. (Государственный переворот в качестве первого «основания» всегда предшествовал дальнейшему революционному «развертыванию», и если первый затрагивал исключительно сферу властвования, то второе распространялось уже на все сферы общественной и политической жизни.) Реструктуризация — не механическое образование нового, не возникновение только новой связи старых составных частей, а первоначально — деструкция и только затем — воспроизведение структуры: это «самая настоящая смерть для новой жизни». Восстановление структуры всегда непосредственно следует за деструкцией, которая представляет собой лишь возвращение к чему-то определенному, но никак не восстановление, и происходит на основании самого этого возвращения: «Смерть и новая жизнь неразрывно связаны, без смерти не бывает возвращения». Но все без исключения перевороты и «отпадения... каждый обрыв процесса развертывания несут в себе большую внутреннюю ущербность, чем непрерывное, постоянное преобразование и излечение даже самых запущенных состояний, менее продуктивных, чем постепенное преобразование старых институтов»⁴⁶.

Все революции начинаются безотносительно к географическому и историческому пространству, с абсолютной программы, «пригодной для человечества в целом», с «видения новой земли», полагая самих себя носителями вечной и безусловной истины. И очень

⁴³ Жижек С. О насилии. М., 2010. С. 154—155.

⁴⁴ Беньямин В. Указ. соч. С. 90.

⁴⁵ Арендт Х. О революции. С. 45.

⁴⁶ Шпанн О. Философия истории. СПб., 2000. С. 224—225.

неохотно возвращаются они на старую землю и в определенную почву: «Смена форм правления от монархии через аристократию и демократию к диктатуре — это всегда одновременное движение от малых территорий к большим»⁴⁷. (У истории государственного устройства, полагал Гегель, нет реально наблюдаемого начала, нет того гипотетического состояния, которое предшествовало бы «общественному договору», — ведь люди всегда жили и живут в так или иначе организованном, обустроенном обществе, предшествующем в истории любой теории. Некая «конституция» должна уже соответствовать существующему реальному историческому государственному устройству нации, поэтому и следует понимать слово «конституция» в том смысле, какой оно имеет в физиологии: Гегель явно заимствовал эту идею у Монтескье).

Наипервейшая задача революций состоит в скорейшем установлении нового авторитета, лишённого поддержки традиции, прецедента и какого-либо «органа старинного происхождения». Они уже ставят вопрос не права и власти самих по себе, но именно источника права, который бы дал новому позитивному праву свою легальность, вопрос об истоке власти, который придавал бы легитимность учреждаемым властям и институтам.

Государство всегда предшествовало закону и легитимности, оставаясь при этом несоизмеримым с ними, и государственный интерес предполагал наличие конкретного (физического или коллективного) лица, для которого определенные и конкретные устройство и форма государства становились целью самого политического действия. Это была настоящая программа государственного строительства, в ходе которого между властной интенцией правителя, направленной на подчинение государства себе, и самим государством еще лежала целая серия мутаций, уводящих правопонимание от частного в сферу публичного: «Частный интерес и властная интенция объективируются... в фикцию... тотальность которой пересиливает трезвое и адекватное видение действительно положения дел в виртуальном государстве, существующем лишь в голове того или тех, кто или уже овладел неким реальным государ-

ством и пересоздал его в согласии со своим замыслом или еще только желает овладеть им, чтобы как можно скорее подчинить его своей фантазии»⁴⁸. Революционеры всегда торопятся, контрреволюционеры, напротив, не спешат, поскольку время работает на них: ведь законы первых еще не созданы, а законы вторых предположительно рассчитаны на вечность.

Неистребимая потребность в абсолютном выражалась в том, чтобы преодолеть присущий законодательству «непрерывный легализм» и принцип «предвосхищения основания», сопровождающий всякое новое начинание. Сам законодательный акт для этого возвышался до понятия «высшего закона» и источника справедливости: но на свою беду «абсолютизм освободил себя не столько от прежде подвластного ему политического порядка, сколько от вечного и абсолютного божественного или естественного порядка». И только революции, как казалось, удалось до конца разоблачить сомнительную природу такого абсолютизма⁴⁹. Революция несла в себе глубоко укорененный релятивизм.

Платон первым отождествил разрыв, существующий между знанием и действием с разрывом между статусами властителя и подвластного. Всякое начинание и действие становятся отдельными друг от друга актами, и «начавший» становится властителем над теми, кому исполнение только вменяется в обязанность: само политическое здесь сводится к искусству («государство как произведение искусства») познавать своевременность и несвоевременность важнейших государственных начинаний и предприятий (Х. Арндт). С этого момента в политическую теорию внедряется неожиданное отождествление знания с повелением и господством, а действия — с повиновением и исполнением повелений; учредительное насилие требует подобной дифференциации.

Но государство — не только «произведение искусства», поскольку оно находится и действует в мире и тем самым в сфере «произвола, случайности и заблуждения. В «Философии права» Гегель поясняет, что «правовое определение может совершенно обоснованно и последовательно вытекать из обстоятельств и существующих правовых институтов и тем

⁴⁷ Вейль Э. Указ. соч. С. 103.

⁴⁸ Иванова Ю. В., Соколов П. В. Указ. соч. С. 69.

⁴⁹ Арндт Х. О революции. С. 222—223.

не менее в себе и для себя быть неправовым и неразумным». Но абстрактность законов и конкретность, обретенная государством лишь в сфере управления, вовсе не означают, что конкретными институциями и законами поэтому можно пренебречь и что можно в каждый отдельный момент продолжать импровизировать, учреждая и создавая все новые и новые эфемерные законы: «Ведь если между нормальной жизнью и революцией нет особой разницы, то тогда каждый момент можно сделать революционным» (Бенедетто Кроче)⁵⁰.

Революционное движение вполне с точки зрения новой легальности может заявлять о необходимости создания новой нормы, которая аннулирует действие институтов, противоречащих ее требованиям. В этой связи обращение к крайней необходимости и подразумевает как раз некую моральную или политическую неправовую оценку, при помощи которой выносятся суждения о правопорядке: «достойн ли он сохранения или усиления даже ценой его возможного нарушения». Принцип необходимости — это, по сути, революционный принцип.

В период чрезвычайных положений государство продолжает существовать, тогда как право отступает на задний план. Именно в учредительной власти и проявляется та крайняя форма чрезвычайного положения, которая обычно называется диктатурой⁵¹. Тогда легальное правительство само решает, кто является врагом, против которого должна бороться армия: тот же, кто берется определять, кто является врагом, тем самым притязает на собственную, новую легальность, «если не желает присоединяться к определению врага, данного прежним легальным правлением»⁵². Самой сущностью политического, полагал Карл Шмитт, является противопоставление «друг — враг» — в условиях революции это проявляется особенно определенно и последовательно.

В революции за периодом произвольного действия всегда следует период произвольной нормы. Эта норма, обычно декларативная по форме, определяется самим «правомочным властителем», который сумел произвольно

и насильственно захватить общественную власть, поэтому и источник власти здесь сам по себе противозаконен, а законность как таковая вообще теряет всякий смысл. «Произвольные нормы ни к чему не обязывают самого законодателя... он может применять норму там, где это кажется ему целесообразным», он может даже придерживаться такой нормы, которая вообще не была введена в действие, или вообще не придерживаться никаких установленных норм. По сути же «революция всегда правонарушительна и праворазрушительна. Она нарушает не только земное позитивное право, но и суть самого права, ибо к сущности права принадлежит способность обновляться и совершенствоваться собственными, заранее сложившимися правовыми путями, и в частности с помощью постоянно наблюдаемой полноценной лояльности»⁵³.

Участь непрерывной перманентной революции такова, что она вводит в жизнь и упреждает именно те обычаи и законы, о которых «новый человек больше не желает заботиться»: принуждение и удобство заменяют ему земной и божественный источник. Подчинение закону, признание абсолютного авторитета власти — все это результаты некоего соглашения, на основании которого государство оказывает гражданину свои услуги, суть которых состоит в обязательной охране его безопасности. «Большая форма», объявляющая себя божественной, при этом немедленно обнажается, раскрывает себя, как это делает идол — и лишь как таковой она и может функционировать»⁵⁴.

В институтах, законах и обычаях таится некая притягательная сила традиции и прошлого. Если же правительство опирается не на право, а только на обстоятельства и увиденные им факты, то оно «не пускает корней». Поэтому еще древние народы особо почитали законодателей и основателей и проклинали тех, кто наносил урон традиции их непрерывности и легальности⁵⁵. Сам факт рождения, исток еще не указывают на значимый исторический факт, но относятся к самой идее государства, поэтому, как полагал Б. Кроче, нет смысла де-

⁵⁰ Кроче Б. Указ. соч. С. 104.

⁵¹ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 51—52.

⁵² Шмитт К. Теория партизана. С. 130.

⁵³ Ильин И. А. Указ. соч. С. 210—211.

⁵⁴ Каччари М. Геофилософия Европы. М., 2004. С. 118.

⁵⁵ Кроче Б. Указ. соч. С. 105.

лить цельное историческое явление на «исток» и «развитие» (то, что О. Шпанн предлагал рассматривать как «основание» и «развертывание») — само по себе государство не есть только факт, но духовная категория.

Проблема легальности новых законов, нуждавшихся в базовом «источнике и верховном господине», некоем «внешнем законе», из которого они бы впредь производили свою законность, предполагала необходимость формирования некоей воображаемой «национальной воли», которая сама располагалась бы вне и над всеми формами правления и законами. Сама же такая воля, остававшаяся только фикцией, позволила бы манипулировать собой и неизбежно привела бы к рождению диктатуры: «Установление новых законов и основание нового политического организма не завершилось и не могло завершиться установлением республики в смысле “господства законов, а не людей”, но лишь заменило монархию, т.е. власть одного, демократией — властью большинства». Принцип большинства стал как бы присущим самому процессу принятия решений и поэтому актуально присутствовал во всех формах правления, включая и деспотизм: технический прием решения большинства превращался тем самым в принцип господства большинства⁵⁶, и еще точнее — в господство массы и политической техники.

Революция влечет за собой предусмотренную «базовой нормой», воплощающей собой принцип «к правотворчеству призывается тот, кто способен его осуществлять», уже вполне реальную смену социальных сил на вершине власти. И над всеми этими структурными элементами начинает незримо царить сама основная норма. Благодаря ей новое революционное правительство выступает правопреемником старого легитимного правительства, только таким образом революционные изменения государственного строя не затрагивают самого института государства⁵⁷.

Революция, даже если она вводит справедливые законы, рождает их в результате потрясений существующей законности, разрушения веры в право как таковое, правосознания и правопорядка. Чтобы «создать более здоровый

организм», она «вливает в организм отраву, разрушающую самую сущность, самое естество органической жизни». Поэтому революция всегда разрушительна и для права, и для государства, и не только для устаревших форм, но для самого естества права, правопорядка, государственности и правосознания⁵⁸.

После революции традиция оказывается прерванной, прежняя конституция больше не существует, и если народу предлагается какая-то новая, то это означает, что часть суверенитета вновь уже осуществляется теми, кто ее предлагает. Суждение народа ограничивается необходимостью поддерживать порядок. И только это оправдывает в его глазах существование временной, переходной власти: революционное упразднение существующего порядка напрямую связывается с установлением учредительной власти⁵⁹. В таком творческом учредительном акте только и рождается нечто новое и цельное.

ТАЙНА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Три различных состояния существования наблюдаются в жизни людей: открытое, публичное и частное пространства. «Если открытое состояние исчезает, никакой человеческий закон или личность уже не смогут противостоять демонам жизни. Никакая конституция не сможет утвердиться, если она не произошла из войны или революции, если не уходит корнями в сферы, простирающиеся далеко за публичным правом и частной выгодой». Открытое пространство — это жизнь «по ту сторону добра и зла, управляемая ангелами и демонами любви и страха» (О. Розеншток-Хюсси). Публичность как пространство политического существования связывается с представлением о демократии, воплощенном в государственности; частная сфера по идее индифферентна к политике и в критических, революционных ситуациях оказывается даже опасной для государства.

«Срывание масок», которое в самый драматический момент провозгласили Робеспьер и якобинцы, означало отказ от государственной тайны, разоблачение частных интересов

⁵⁶ Арендт Х. О революции. С. 226.

⁵⁷ Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 108.

⁵⁸ Ильин И. А. Указ. соч. С. 199.

⁵⁹ Шмитт К. Диктатура. СПб., 2005. С. 166.

и замену их политической публичностью, которая должна была обеспечить равенство, но никак не свободу. Им казалось, что враг и настоящая опасность скрываются за закрытыми дверями, в сфере частной жизни. Революция должна вскрыть эти темные миры, где всегда зреют заговоры. «После монстров, размешавшихся в городах, церквах или империях, должен появиться кто-то самый могущественный, который придет к власти, воспользовавшись какой-нибудь катастрофой, уничтожением каких-то народов и наших свобод» (Сиоран). Создание чрезвычайных органов (комитетов, комиссий и т.д.) и специальных репрессивных подразделений становится свойственным революции уже на самых ранних этапах ее развития — на этапе диктатуры они уже превращаются в тайную полицию.

Тайна всегда находится где-то в самой сердцевине власти: сам акт «выслеживания» является тайным по своей природе. Но в момент «хватания» власть проявляет себя открыто, поскольку внушаемый этим ужас даже усиливает воздействие, однако с «начала поглощения все опять разыгрывается во тьме». Властвующий должен видеть все насквозь, но не позволяет смотреть в себя: «Уважение к диктатурам в значительной степени вызвано тем, что в них видят способность концентрации тайны, которая в демократиях разделяется и распыляется»⁶⁰. («Теория божественного права на царскую власть или, более широко, божественные источники принципа публичной власти, являются не чем иным, как кристаллизацией религиозного принципа, который изначально уже проявлялся в институте царей-жрецов и в табу на личность вождей» (Поль Ювелен)⁶¹. Самая эффективная форма власти всегда осуществляется в тайне: «лучший правитель тот, о котором известно только то, что он существует».

Техника государственного управления также нуждается в тайне, но в сфере публичности вынуждена прибегать к созданию неких фикций и образов, одновременно объясняющих и скрывающих ее действия. Революция, провозглашающая разоблачение политических тайн, сама очень скоро начинает скрывать свои истинные цели за популистскими лозунгами и запрети-

тельными нормами: техника переворотов требует утаивания самого важного. Еще Плутарх замечал: «Ты должен иногда в незначительных делах допускать несправедливость, чтобы не допустить ее в делах великих». Необходимо, чтобы те, кому доступ к высшей власти закрыт, были со всех сторон окружены образами или ложными подобиями (симулякрами) — иногда высшей власти, иногда свободы — дабы они могли тешить и словно бы питать себя созерцанием этих образов и тем самым удерживаться от посягательств на мощь высшей власти и господство... С народом следует вести дело, изъясняясь посредством туманных выражений и ложных подобий»⁶².

«Правители всех государств пользуются некими сокровенными софизмами, посредством которых они вводят в заблуждение смутьянов и охраняют благополучие государства от их посягательств» — Цицерон в «Природе богов» называет это «преступлениями во благо государства». Эти секреты высшей власти Тацит называл «тайнами господства» или «симулякрами власти»; другое название «арканам» — «замаскированный закон». Арнольд Клапмарий определил государственные тайны как некий вид притворства: «публичные действия подобны комедиям». По сути дела, это — глубинные и сокровенные намерения лиц, которым принадлежит власть в государстве, направленные на общее благо и имеющие целью «спокойствие этих лиц, а также сохранение наличного состояния государства», чернь с трудом может проникнуть в них, и замыслы эти незаметно «вводят в заблуждение тех, кто ненавидел наличное состояние общества»⁶³. В тайне нуждаются как революционеры, так и контрреволюционеры. Охранение государственной тайны всегда объясняется актуальным или будущим государственным интересом и не учитывает ни публичных, ни частных предпочтений. Тайна всегда оказывается связанной с насилием и необходимостью, она по своей сути сакральна, ее недоступность массе должна вызывать страх и трепет.

Каждая серьезная революция начинается с расширяющегося ощущения «великого страха», охватывающего какую-то часть населения.

⁶⁰ Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. С. 324—320.

⁶¹ Цит. по: Гурвич Г. Д. Магия и право // Философия и социальное право. СПб., 2004. С. 526.

⁶² Клапмарий А. О суверенных нациях // Иванова Ю. В., Соколов П. В. Указ. соч. С. 214.

⁶³ Клапмарий А. Указ. соч. С. 218—220.

(Уже Лютер замечал, что «знамения природы определенно указывают на политическую революцию посредством войн». Император Фридрих II (XIII в.) предупреждал: «Итак, сошел на нас конец времен, ибо не только в ветвях, но в корнях застыла сила любви», народы поднимаются на народы и империи угрожают империям, мор и голод наполняют ужасом сердца людей... Политический страх — тайное место встречи интеллекта и страстей, политики и морали, «он друг привычного — законов, элит, учреждений, властей, и приятель условного — морали и идеологии»). В отличие от страха, как его понимал Гоббс, уточняя, что страх нуждается в помощи законов и институтов, Монтескье не считал страх и террор производным явлением от этих факторов, видя в нем лишь неизбежную извращенную форму деспотической власти.

Французская революция многое поменяла в этих представлениях: А Токвиль увидел в феномене политического страха некую природную эманацию «низов, темной души и культуры масс»: демократия — безличная, бесформенная власть масс становится центром внимания, а тревога всегда была ее естественным психическим состоянием. Это и рождало новый тип деспотизма — государство, чувствуя тревогу низов, расценивало ее как приглашение к репрессиям⁶⁴: «Конвент с готовностью создал на страхе политику невозможного, тактику яростного безумия, культ слепого геройства». (Чем страшнее и безрассуднее идея, тем больше число «истеричных людей она увлекает, особенно из среды политических партий, где каждый частный успех обращается в публичную неудачу или торжество, и его идея поддерживает фанатиков в течение всей их жизни» (Чезаре Ломброзо).

Зато демократиям явно не хватает образности, точнее, образов, которые можно было бы любить и обожать, ее «приземленность» не побуждает ни к борьбе (за пределами правового поля), ни к жертвенности. «Опыт прошлых революций свидетельствует о том, что любая попытка решить социальный вопрос политическими средствами оканчивается террором и что именно вследствие террора революция и терпит поражение» (Х. Арендт). «Мятежи, вызываемые брюхом, есть наихудшие», — по-

вторял Фрэнсис Бэкон: словно силы земли тогда образуют с голодным бунтом тайный союз, основой которого становится ярость, а итогом — бессилие, осознанной целью — не свобода, а только жизнь и счастье. Люди начинают верить, что над ними действительно властвует некая высшая сила⁶⁵. И тогда на политическую арену выходят «демоны площади».

Масштабный террор возможен только при активном участии масс: «В современном мире появился феномен, создающий впечатление пережитка, причину которого безуспешно искали: власть некоторых вождей сопровождается каждодневным террором». Несмотря на жестокость, такой режим, однако, может быть окружен почтением и даже любовью: любовь и почтение оказываются связанными с ужасом, в совокупности напоминая болезненные приступы⁶⁶. Итак, «масса — это деспотичное животное» (С. Московичи). Вместе с тем массы испытывают глубокую потребность преклоняться перед великими идеалами и их персонификациями, они испытывают острую потребность в восхищении.

Террор как узаконенный механизм, сознательно применяемый для придания ускорения революции, является в мир после того, как он утрачивает свое значение «акта по обнаружению скрытого, срывания масок» (Х. Арендт). В этом свете революция выглядит уже как «прорыв здорового внутреннего ядра сквозь прогнившую и обветшавшую оболочку», новая политическая система воображает себе, что опирается на «естественные права», которые вовсе и не были дополитическими, но составляют конечную цель активной и рациональной деятельности самой политической власти. И за этим всегда стояла темная месса, настоящая сила естественных потребностей, движимая законами самой природы⁶⁷: пугающие перемены, «необходимость» и «естественный порядок» в своем безразличии к человеку начинают обозначать только «голое» насилие.

Отличительная черта всех революций — это подчинение законов и правосудия грубой силе. Против злоупотреблений свергнутого режима возмущенный народ использует открытое насилие, которое возводится в систему управле-

⁶⁴ Робин К. Страх. История политической идеи. М., 2007. С. 37—41.

⁶⁵ Арендт Х. О революции. С. 152—153.

⁶⁶ Московичи С. Век толпы. М., 1996. С. 222.

⁶⁷ Арендт Х. О революции. С. 148.

ния: «Народная тирания становится суровее королевской. Затем берет перевес реставрация, снова заканчивающаяся второй революцией». Происходит очередной переход от одной формы правления к другой⁶⁸. «Новым агентом страха становится большинство, правящее не посредством известных традиционных средств и служб государства, но при помощи новых механизмов народного мнения и коллективных верований». Абсолютное единство делает это большинство самой могущественной политической формой⁶⁹: сходные чувства и общие страсти формируют некое единство «таинственного усредняющего процесса», протекающего вне политики. Здесь намечается определенная метафизическая аналогия между божественным управлением природой, природным управлением организмом и отцовским управлением семьей: одно проистекает из другого, формируя цепь преемственности. И вместе с тем нельзя смешивать суверенитет, отсылающий непосредственно к высшей власти, с управлением как ее производной функцией.

Возникновение любого общества сопровождается реальной или воображаемой угрозой хаоса. Кризис как временная смена порядка беспорядком, как правило, характеризуется обостренным переживанием таинственного и устрашающего, некоего божественного присутствия (Рудольф Отто), конечно же, эти чувства особенно ярко проявляются в чрезвычайных обстоятельствах в момент общественной дезорганизации и внезапных социальных преобразований и аномии — тогда чувство тревоги достигает своего предельного уровня. Характерно, что в этой ситуации чрезвычайное положение кажется одинаково эффективным как для предотвращения революции, так и для ее ускорения, что указывает на его преимущественно технологическую сущность.

Из латинского изречения «необходимость не знает закона» проистекают сразу два смысла: возникшая необходимость не признает действующего закона и она же творит собственный закон. В «Декрете» Грациана и в «Сумме теологии» Фомы Аквинского «крайняя необходимость» наделяется магическим свойством «делать незаконное законным», и поэтому

Агамбен полагает, что теория крайней необходимости выступает здесь как настоящая теория исключения; когда единичный случай освобождается от обязанности соблюдения общего правила, поскольку необходимость выводит этот случай из зоны буквального применения нормы, при этом приостанавливая действие самого закона. Чрезвычайное положение тем самым только пытается включить в правовую систему само исключение (тогда как средневековое представление об исключительности все еще свидетельствовало о проникновении в правовую систему внешнего факта или правовой фикции), что и приводит к созданию некой зоны неразличимости, внутри которой реальность и право совпадают⁷⁰.

Характерно, что революция также активно использует чрезвычайное положение, как и государство, которое стремится предотвратить революцию: ведь настоящим сувереном всегда становится тот, кто в состоянии ввести эффективное чрезвычайное положение.

В форме исключения и чрезвычайности происходит мистическое соединение нормы и реальности — для того чтобы применить норму, необходимо приостановить ее применение. (Авл Гелий так описывал эту ситуацию: «Закон стоит на месте, как солнце в день солнцестояния», тем самым создавая ситуацию «юридической пустоты». Макиавелли позже скажет об этом: нужно «сломать порядок для того, чтобы спасти его», Моммзен позже назовет этот период юридической аномии «мертвым временем».) Чрезвычайное положение выступает здесь как «создание в системе законодательства необычной фиктивной лакуны», и для того, чтобы защитить существующие нормы, эта лакуна располагается не внутри самого закона, но затрагивает только его внешнее пограничное отношение к реальности, саму возможность его реализации: тем самым чрезвычайное положение как бы создает пространство, в котором «закон как таковой остается в силе, хотя его применение фактически приостановлено»⁷¹. (К. Шмитт явно стремился включить чрезвычайное положение в сам юридический контекст, для этого связывая его непосредственно с правопорядком.)

⁶⁸ Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз. М., 1998. С. 311—312.

⁶⁹ Робин К. Указ. соч. С. 97.

⁷⁰ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 44—45.

⁷¹ Указ. соч. С. 53.

Действительность закона отличается от «силы» закона, этого технического термина права, обозначающего отделение применимости нормы от ее формальной сущности, когда подзаконные акты вдруг приобретают значение закона. С технической точки зрения эффект чрезвычайного положения заключается в этой изоляции «силы закона» от самого закона: норма как бы находится в действии, но не применяется, т.е. «не имеет силы». В то же время акты, до этого момента не имеющие значимости закона, только и обретают в этом состоянии силу. Чрезвычайное положение — это настоящее пространство аномии, в которой ставкой является именно «сила закона» без закона, и эта сила «является неким мистическим элементом» или фикцией, посредством которой право пытается присвоить себе эту самую аномию⁷²: создается открытое пространство, где сила осуществляет (применяет, прекращая применение) норму, применение которой приостановлено.

Воображаемую и пугающую начальную полноту власти и идею единства, свойственные представлению об абсолютных полномочиях власти в условиях чрезвычайного положения, вполне возможно считать очередной юридической мифологемой, аналогичной гоббсовскому «естественному состоянию»: господство исполнительной власти, возникающее путем делегирования ей «абсолютных полномочий», уже представляет собой настоящую «конституционную диктатуру», стремящуюся защитить конституционный порядок.

Опасность здесь заключается в том, что эти исключительные меры сами же и ведут к разрушению конституции: диктаторские конституционные полномочия не позволяют контролировать естественные процессы концентрации власти — «охраняемая демократия» перестает тем самым быть демократией и функционирует уже как переходное состояние к диктатуре: «В политическом смысле всякое непосредственное, т.е. не опосредованное самостоятельными промежуточными инстанциями, осуществление государственной власти вполне можно назвать диктатурой, понимая под ней централизм в противоположность децентрализации» (К. Шмитт).

Но чрезвычайное положение само по себе все же является никак не полноценной диктатурой (конституционной или неконституционной), но лишь пространством правового вакуума, глухой зоной аномии, в которой парализованы все юридические понятия и различия общественного и частного: ошибкой, на наш взгляд, является и попытка полностью вписать чрезвычайное положение в юридический контекст.

Приостановка права высвобождает некую мистическую силу, род «юридической маны». Сила закона, отделенная от самого закона, действительность без применения, идея «нулевой степени закона» — все это фикции, посредством которых право пытается включить в себя свое собственное отсутствие, мифологемы, с помощью которых делается волюнтарная попытка определить статус чрезвычайного положения в его связи с правом⁷³. В зоне неразличения права и жизни изначальный узел, позволяющий жизни попасть в ловушку закона, не в законе или санкции, а в «вине» как процессе включения/исключения; и именно здесь обнаруживается место суверенности, власти⁷⁴ (Агамбен).

Для права чрезвычайное положение как учреждающее измерение всегда остается только пустым пространством. Эта зона — пространство человеческой деятельности вне соотношения с нормой совпадает с «подобной призраку формой права», в котором оно распадается на чистую действенность без применения (форму закона) и чистое применение без действительности (сила). Беньямин поэтому определяет мифически-юридическое как «средство без цели», не являющееся даже подходящим средством для достижения цели⁷⁵. Неразрешимое противоречие между насилием и правом выливается здесь в форму чрезвычайного положения, в котором закон поддерживает свою связь с жизнью, удаляясь от нее, запрещая и оставляя ее на произвол собственного насилия⁷⁶.

Норма применяется в нормальной ситуации («без порядка нет правопорядка»), но ее действие может приостанавливаться и без полного упразднения правопорядка, поскольку она в форме суверенного решения отсылает к самой жизни, от которой и ведет свое происхождение.

⁷² Агамбен Дж. *Homo sacer*. С. 62—63.

⁷³ Указ. соч. С. 82—83.

⁷⁴ Цит. по: *Проди П. История справедливости*. М., 2007. С. 21.

⁷⁵ Агамбен Дж. *Homo sacer*. С. 97.

⁷⁶ Агамбен Дж. *Средства без цели*. М., 2015. С. 113—114.

Поэтому «чрезвычайное положение представляет собой в конечном счете механизм, призванный приводить в действие и подгонять друг к другу обе составные части политико-правовой системы, учреждая область неразличимости между аномией и номосом, между жизнью и правом». Тем самым оно основывается на некоей изначальной иллюзии, сопрягающей аномию как живое воплощение закона или силу закона с правопорядком, а власть приостанавливать действие норм — с самой жизнью. Некогда эти элементы стремятся совпасть в одном субъекте, когда чрезвычайное положение, в котором они предстают связанными друг с другом, становится нормой — тогда политико-правовая система способна превращаться в настоящую «машину смерти».

Тайна власти заключена именно в чрезвычайном положении, которое есть, по сути, пустое пространство, где действие не соотносится с правом, сталкивается с нормой и никак не соотносится с жизнью. Это — механизм, в центре которого пустота. Чрезвычайное положение тем самым представляет собой момент максимального напряжения двух сил — одной, учреждающей и полагающей, другой — упраздняющей и низлагающей. Жизнь и право, аномия и номос происходят из раскола изначального единства, которое само есть только иллюзия. Представить право в его несвязности с жизнью, а жизнь — в ее несвязности с правом означает создать в зазоре между ними пространство политического, которое под действием права воспринимает себя как учредительное насилие, устанавливающее законы: но подлинно политическим является только действие, которое разрывает связь между насилием и правом⁷⁷. Революция оказывается к этому неспособной.

СУВЕРЕННАЯ ДИКТАТУРА ИЛИ ТИРАНИЯ

Приостановка действия права, понимаемая как «благое дело», никогда не была свойственна средневековому мышлению: чрезвычайное положение приобретает соответствующее ему значение и статус легального состояния только в Новое время, когда и крайнюю необходи-

мость стали рассматривать как вполне легитимное основание для действия актов и указов, приобретающих силу законов и издаваемых исполнительной властью в условиях чрезвычайного положения. Крайняя необходимость стала представляться в этом случае одновременно юридическим фактом, и субъективным правом государства, основанным на действующем законодательстве (Сантис Романо)⁷⁸.

Чрезвычайное положение поэтому оказывается только некоей критической точкой, в которой нарушается равновесие между публичным правом и политическим фактом и которая располагается где-то в двойственной и неясной зоне, на пересечении юридического и политического. Будучи лишь временным упразднением самого юридического порядка, чрезвычайное положение тем не менее обозначило его предел: оно оказывается схожим с правовым вакуумом и располагается не вне и не внутри правопорядка, но представляется особой зоной неразличимости, где внешнее и внутреннее никак не влияют друг на друга, а приостановление действия нормы в этом пространстве еще не означает ее отмены⁷⁹.

Принятие решения о чрезвычайном положении как о непосредственном ответе государственной власти на самые острые вызовы и конфликты оказывается в этой своеобразной зоне. Но уже в силу собственной логики развития чрезвычайное положение очень скоро начинает стремиться стать доминирующей управленческой парадигмой политики, а превращение временной и исключительной меры в управленческую технологию начинает угрожать радикальным преобразованием структуры и смысла существующей конституционной формы⁸⁰.

В своей «Диктатуре» Карл Шмитт характеризует два вида институциональных структур, возникающих и оформляемых государством в ситуации чрезвычайного положения; власть и закон демонстрируют особые взаимоотношения в каждом из этих случаев.

«Комиссарская» диктатура подразумевает некое состояние закона, в котором он хоть и не применяется, но зато остается в силе. «Суверенная» же диктатура, в которой старая конституция уже не действует и не существует,

⁷⁷ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 134—137.

⁷⁸ Указ. соч. С. 46—47.

⁷⁹ Цит. по: Агамбен Дж. Homo sacer. С. 7—8, 42.

⁸⁰ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 9.

а новая только представлена в самой минимальной форме учреждающей власти, означает такое состояние закона, в котором он хоть и применяется, но формально не действителен. Тем самым чрезвычайное положение отделяет норму от ее применения, для того чтобы сделать само ее применение возможным. В область права вводится та самая аномия, призванная нормализовать реальность и создающая новое поле правового напряжения: норма тем самым действует без какой-либо отсылки к реальности⁸¹.

Диктаторская власть суверена воспринимается в этой ситуации как только «переходная», и именно в силу своей подчиненности поставленной политической задаче отличается от абсолютной монархии и суверенной аристократии: диктатор здесь позиционируется как бы «комиссаром действия на службе учрежденной власти», тогда как суверенная диктатура — на службе власти учредительной⁸².

Но если у Локка диктатор господствует над законом, при этом не являясь представителем законодательной власти, то у Руссо, который отказывал «общей воле» вообще в какой-либо репрезентации, диктатор может заставить законы только замолчать, но не говорить, при нем законы «спят», а действие законодательного порядка приостанавливается. Руссо называет такую диктатуру «важным поручением», поскольку для нее существуют только обязанности (Фридрих Великий говорил о себе: «Я — только первый слуга государства»).

При суверенной диктатуре, которая непременно стремится к созданию новой конституции, чрезвычайное положение вполне вписывается в правовой порядок, подчеркивая различие между учреждающей и учрежденной властью. «Учреждающая власть не является простым и чистым вопросом силы, она — власть, которая, не будучи конституционно учрежденной, все же находится в связи с действующей конституцией и, будучи юридически бесформенной, представляет собой некий “минимум конституции”» (Карл Шмитт).

Приостанавливая действие конституции, чрезвычайное положение тем самым раскрывает в себе специфически юридический формальный элемент — решение. Норма и реше-

ние здесь демонстрируют свою автономность: суверен стоит вне действия правового порядка и все же принадлежит к нему — в этом-то и заключается суть чрезвычайного положения, которое вводит сам суверен. В контексте революционного развития всегда решается вопрос: кто настоящий суверен? В ходе борьбы стороны противопоставляют друг другу свои гипотетические диктаториальные формы: двоевластие разрешается в этой борьбе проектов.

Суверенная диктатура — это настоящая революционная власть, власть еще не легализованного и не конституированного государства. Она происходит из оснований все еще существующей государственности, все еще «цепляясь» за ее конституцию и всеми способами пытаясь сохранять внешний легализм, чтобы тем самым обосновать свою легитимность.

И здесь вырисовывается самый важный момент перехода от старого режима к новой государственно-правовой реальности. Переход суверенности не может происходить не в пространстве исключительности — странным образом и насилие, и диктатура всегда стремятся придать себе черты юридической преемственности (даже если они отрицают при этом политическую и идеологическую преемственность) с режимом, который они заменяют собой.

Суверенная диктатура рассматривает существующий порядок как состояние, которое должно быть устранено. Она не приостанавливает действующую конституцию в силу основанного на ней конституционного права, а стремится достичь состояния, которое позволит ввести такую конституцию, которую сама она считает истинной: она ссылается не на действующую конституцию, а на ту, которую еще только надлежит ввести⁸³. (Агамбен замечает: характерной особенностью фашистских и националистских режимов было то, что они, не отменяя действующих конституций, создали параллельно легальный институт по принципу «двойного государства», вторую структуру, часто не формализованную юридически, которая могла существовать одновременно с первой благодаря как раз чрезвычайному положению.)

Двоевластие — состояние вполне «нормальное» для большинства революций. У Руссо законодатель сам конструирует новое государство,

⁸¹ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 59—60.

⁸² Шмитт К. Диктатура. С. 167.

⁸³ См.: Указ. соч. С. 157—160.

хотя он — еще «не магистрат и не суверен». Содержанием его деятельности становится право, но без какой-либо правовой силы, тогда как диктатура — это реальное всевластие без закона, бесправная власть. Противопоставление безвластного права и бесправной власти и ведет к тому, что законодатель в результате оказывается вне государства, но все же в сфере права, а диктатор — вне права, но в государстве: законодатель здесь — неконституированное право, диктатор же — конституированная власть. Но как только возникает возможность для появления «законодателя-диктатора», диктатура становится настоящей суверенной учредительной властью⁸⁴: тогда революцию совершает уже само государство.

Когда-то Монтескье рекомендовал аристократическим (по его мнению, наиболее совершенным) государствам заранее «предусматривать диктатуру в своих конституциях»! Физиократы же полагали, что единственный закон, реально определяющий развитие государства, — это экономический закон, который всегда служит сильной монархии и делает излишними какие-либо «промежуточные власти» (корпорации), — во всем остальном государству должно быть позволено все. (Не случайно идеальной государственностью для физиократов казался Китай. Тюрго и Мерсье развивали свою систему легального деспотизма: целью разума в ней является деспотизм, насильно прививающий людям свободу и культуру.) Диктовать позитивные законы — уже значит командовать, и для этого требуется публичное насилие, без которого законодательство остается беспочвенным и беспомощным.

Единая воля упраздняет всякое разделение власти: «главное слово в этом мире идей — «единство»: единая сила, единая воля, единство очевидной истины, власти и авторитета, чей деспотизм основывается на познании истинных законов социального порядка». Интересы суверена здесь совпадают с интересами подданных, и такая до предела централизованная (и идеализированная) власть позволяет осуществить переход к состоянию, в котором естественные законы господствуют уже сами собой и осуществляют желанное и идеальное состояние равенства⁸⁵. (Презумпция тождества

власти и подвластных, фиктивная по сути, оказывается присущей или приписываемой всем правящим режимам без исключения, ведь даже демократический консенсус, как и режим всеобщего избирательного права, предполагают точно такое же отождествление, каким некогда было тождество монарха и его государства в условиях абсолютизма.)

Однако последователи Монтескье увидели в деспотической форме прежде всего «нарушение баланса сил»: с их точки зрения, вмешательство государства должно было осуществляться только с обязательным использованием промежуточных инстанций, с ограниченной властью и конституцией. Но и сам Монтескье ни разу не использовал термин «диктатура», хотя и замечал, что непосредственная демократия, как и абсолютная монархия, характеризуется таким же «непосредственным господством».

(Но вполне возможно существование демократии и без парламентаризма, как и парламентаризма без демократии: «Диктатура во всяком случае не является такой уж решительной противоположностью демократии, а демократия — диктатуры» (Карл Шмитт). Томас Манн как либеральный консерватор считал демократию всего-навсего не более чем «растущей публичностью» жизни: с духом она не имеет ничего общего, с добродетелью также. Зато она вполне совместима с сильным монархическим правительством, которое представляется ее необходимым коррелятом: «Я хочу монархии, поскольку имению высвобождение монархического государственного правления из-под власти денежных интересов» способно выдвинуть нацию на социальные передовые позиции, «я не хочу политики. Я хочу действий, порядка и пристойности», но национальная идея несовместима с демократией, — утверждал писатель⁸⁶. Легитимность монархии всегда кажется основательной, поскольку она более конкретна, легитимность же демократии — по сути своей абстрактна, так как имеет дело с фантомами.)

Только персонифицированный суверен способен совместить в себе сразу и публичное, и частное, отсюда и возникает необходимость различать те самые «два тела короля», чтобы обеспечить непрерываемую преемственность

⁸⁴ Агамбен Дж. Homo sacer. С. 78.

⁸⁵ Шмитт К. Диктатура. С. 131—132.

⁸⁶ Манн Т. Размышления аполитичного. М., 2015. С. 233—238.

власти: когда биополитическая *auctoritas* начинает превалировать над юридической *potestas*, элементы «вождизма» в самом суверенитете возрастают и харизма затеняет собой контуры правопорядка.

Термин «диктатура» возник значительно позже своего античного аналога, рожденного еще лексикой древних, — «тирания». Однако своим появлением он превращает этот свой синоним из вполне рентабельного легального понятия (правда, сохранив этот смысл в определении «комиссарской» диктатуры) в некий негативный символ, обозначающий ненормируемое насилие и даже садизм (или «зверство», как было принято говорить в эпоху Ренессанса). Однако поводы к такой трансформации имелись и ранее.

Аристотель, проанализировав большое число известных ему конституций и форм правления, замечает скептически: «упомануть о тирании в самом конце (исследования. — И. И.) будет разумно, потому что она менее всего соответствует представлению, соединенному с государственным строем власти. Наша же задача — исследование видов именно государственного строя». Государственный интерес в его практическом применении всегда оказывался несправедливым и преступным: только частично совпадая с политикой, интерес «дурных государств», оказывался несогласным с благой целью политики и получил по этой причине свое особое имя. «Коль скоро какое государство не может возникнуть или быть сохранено без какой-либо специальной формы государства, значит, у всякого государства должен быть свой государственный интерес, т.е. соответствующая ему форма основания и сохранения»: из-за этого государственный интерес часто противоречит законам, поскольку направлен прежде всего на выгоду тех, кто правит, с трудом согласуясь с законами, предполагающими общую выгоду⁸⁷.

Аристотель повторял: у тирана три заботы — это вселить малодушие в своих подданных, поселить взаимное недоверие и лишить людей политической энергии. Тем самым вокруг него формировалось некое пустое пространство, в котором были возможны любые произвольные построения. Но даже в терро-

ре всегда остается некий элемент, просвет «классической трансцендентности: «нации», «добродетели», республика — миф не только не уходит из правового пространства, но активизируется в нем. (Классическое определение тирании как некоей «дурной формы», не охватывает собой специфического явления, известного под именем «цезаризма», даже называя режим «тираническим», подразумевают наличие существующей конституционной альтернативы ему, цезаризм же возникает лишь после окончательного краха республиканского конституционного порядка, и такая уже постконституционная власть не может быть подвидом тирании, полагал Лео Штраус⁸⁸.)

Тираны, «понимающие толк в делах правления, вполне могут позволить себе и «мягкую диктатуру» — ведь вовсе не жестокость есть главный признак тирании, а прежде всего уничтожение публичной политической сферы: упорядочение господства и подчинения, повелевания и подчинения основаны в конечном счете даже не на презрении к людям, а на вполне обоснованном недоверии к самому человеческому действию, на стремлении сделать это действие излишним. «Присущий всем политическим режимам «принцип смерти» всего заметнее в республиках, чем в диктатурах, первые провозглашают и афишируют его, вторые скрывают и отрицают». Диктатуры подготавливают события и культивируют их, тогда как республики с легкостью без них обходятся. Свобода уже сама по себе есть состояние отсутствия, побуждающего утомленных свободой граждан к смирению: «к тирании можно привыкнуть, даже полюбить ее, и бывает, что человеку приятнее погрязнуть в страхе, нежели переносить тоску быть самим собой». Когда это явление становится всеобщим, тогда появляются цезари.

Выбирая для себя самое экзистенциально важное и трудное, тираны могут процветать только в смутные времена, поддерживая хаос или обуздывая его⁸⁹. Строительство порядка из хаоса — провозглашаемая цель всякой суверенной диктатуры: в ситуации чрезвычайного положения замирают хаотичные движения и импульсы. Суверенное насилие «подмораживает прогресс», останавливает течение времени, чтобы потом начать новый отсчет.

⁸⁷ Дзукколо Л. Указ. соч. С. 204—205.

⁸⁸ Штраус С. О тирании. СПб., 2006. С. 277.

⁸⁹ Сиоран Э. В школе тиранов // Сиоран Э. Испытание существованием. М., 2003. С. 302—303.

В то время как атрибуты политики — законы, дискуссии и даже само насилие — требовали определенного действия, целью террора являлось «подобное смерти безмолвие»: «В то время как принципом деспотического правления является страх, целью его является спокойствие» (Монтескье).

Законы и институты насилия становятся специфическими институтами законодателя, манеры же и нравы, напротив, приходят из отдаленного прошлого и остаются в политике самыми неопределенными и неуловимыми из эмоций: у Монтескье деспотический иррациональный террор кажется настоящим «инстинктом смерти», возвращающим личность в состояние неподвижности: «Чтобы сделать что-нибудь действительно ужасным, — добавлял Эдмунд Бёрк, — необходима неизвестность», если и есть настоящий объект для страха — так это сама склонность личности к подчинению. По замечанию Эдмунда Бёрка, в политическом сознании «обновляется и восстанавливается не столько актуальность самой угрозы, сколько воображаемая идея этой угрозы. Еще Гоббс предлагал специально «воспитывать страх для того, чтобы сформировать устойчивую политическую общность; государство должно было получить право определять объекты страха, чтобы создавать иллюзию, явно преувеличивающую опасность: по Гоббсу именно страх и придает человеку цельность и связанность, укрощает разрушительные и отвлекающие рефлексy, господствующие в «естественном состоянии». Правопорядок — не исключение по отношению к правлению, основанному на страхе; это настоящее завершение этого последнего: ведь и «цель наказания не месть, но страх», и только точные правила способны по-настоящему легитимировать страх»⁹⁰.

Перманентная «тревога» граждан у Токвиля не была только сфокусирована на каком-то конкретном вреде, она оставалась смутным предчувствием общего хода изменений, сложным и неопределенным: не уверенная в очертаниях своего мира личность старалась смешаться с массой, в единстве с нею обретая чувство укорененности и с готовностью подчиняясь всесильному репрессивному государству, которое, как казалось, одно только

и могло восстановить ощущение авторитета и постоянства: «Тревога не была реакцией на репрессии государства, она к ним приводила». Эта тревога вскоре становится политическим орудием тиранического большинства, получающего свою силу от законов, идеологии и институтов⁹¹. Легальность лишь усиливала страх и трепет. Узаконенный террор рождал чувство незащитности и безвыходности, экзистенциального одиночества индивидуума.

Поэтому Монтескье и увидел в тирании прежде всего проявление принципа изоляции правителя от своих подданных, а этих последних — друг от друга. «Тирания активно мешает возникновению власти... внутри всей политической области», используя присущую ей изолирующую силу. Она, как ни странно, и порождает безвластие так же естественно, как другие государственные формы порождают власти: ведь власть легче уничтожается насилием, чем сила.

Чем в большей мере та или иная государственная форма есть, по сути, властное образование (особенно в случае «безграничной демократии»), тем тяжелее положение одиночки: власть особенно портит, когда слабые сбиваются в группу, чтобы погубить сильных. Ресентимент порождает волю к власти главным образом у слабых; зависть, жадность и обида делают эту волю злой. «Если тирания есть попытка, всегда тщетная, заменить власть насилием, то охлократия, или власть толпы, составляющая точную противоположность первой, есть немного более перспективная попытка компенсировать силу властью»⁹².

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ДИКТАТУРА БОЛЬШИНСТВА

Метафизическая идея «неодолимого движения, присущего звездам и революциям», достаточно скоро была превращена политиками в наукообразную идею исторической необходимости. Непрерывность и повторяемость революционного процесса Прудон первым окрестил «перманентной революцией»: после этого стихийное господство случайности и «прискорбной смеси насилия и бессмыслицы» (Гете), свойственные истории, уступили в теории место жесткой цикличности и неотвратимости.

⁹⁰ Робин К. Указ. соч. С. 60.

⁹¹ Робин К. Указ. соч. С. 93—94.

⁹² Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000. С. 268—269.

Время революции — это время, как раз необходимое для того, чтобы сделать новую власть ощутимой и видимой для «ветеранов прежнего мирового порядка»: слово, которое было некогда «страшной государственной изменой» в первый день, стало в последний день общественным законом с благословения той самой власти, против которой оно и его действие были направлены⁹³. Кажется, что контрреволюция только закрепляла завоевания революции.

В конфликте между законом и властью, как показывает опыт, закон редко выходит победителем: власть же может быть ограничена только другой властью и может сохранять свою силу опять же при помощи власти.

Абсолютный характер революции может быть объяснен только абсолютизмом предшествующей монархии, и чем более абсолютным являлся правитель, тем более абсолютной будет и смещающая его революция. Проблема абсолюта, как кажется, вообще присуща самому феномену революции. «Не конституция — конечный проект и изначальная цель всех революций, но революционные диктатуры, призванные ускорить и интенсифицировать революционное движение» — главный результат революции⁹⁴. Объем революционной энергии, которая выплескивается в мир в ходе переворота, и его длительность оказываются вполне сопоставимыми с характеристиками грядущей контрреволюции, которая также происходит внезапно и также с помощью силы: противодействие всегда равно действию, однако на практике этот процесс может оказаться более длительным и затяжным, «ведь сама продолжительность революционных злосчастий уже возвещает грядущую и длящуюся контрреволюцию» (Жозеф де Местр).

Общая воля, на которую так часто ссылается революция как на свое основание, превращается в «диктатуру большинства», противостоящую существующему государству. Всякий государственный политический переворот всегда оправдывался тем, что он устраняет только те обстоятельства, которые тормозят движения жизни, его объявленной целью становится под-

держание и восстановление прерванных связей и «спасение общества от хаоса» и не более того. Однако уже следующие за переворотом процессы нового «основания», приходящие на смену прежним процессам «неправильного развития» (Отмар Шпанн), как правило, оказываются все же менее продуктивными, чем возможное постепенное преобразование старых институтов, которое могло бы заменить собой революционный слом.

Опасность, которую таят в себе такие перевороты, состоит еще и в том, что они, как правило, совершаются людьми, чьи таланты относятся скорее к сфере разрушения, чем созидания. В своей деятельности эти люди стараются избежать как дальнейшего углубления возникшего разрыва («сверх того, чем это было необходимо»), так и формального признания такого разрыва: «формально они отрицают сам факт разрыва и поэтому осуществляют его в тайне». (Так, Цезарь избегал формального признания переворота, оставаясь в своей деятельности в рамках традиционных форм и реалий.) В условиях же демократии, напротив, становится очевидным, что организаторам переворотов в большей степени присуще сознание разрушителей, чем созидателей. Террор тогда становится неизбежной формой при зарождении новой демократии, ведь всякий разрыв есть сам по себе настоящий «прыжок во тьму»⁹⁵. (Но где-то в глубине социальности заложен фундамент, который сохраняется даже при смене политических режимов и форм. Муссолини жаловался на невозможность радикального изменения политической формы: «Монархия была раньше и монархия будет всегда». Онтологичность располагается значительно глубже политического.)

«Чем держится государство? Сотрудничеством и оппозицией. А как мы можем его ниспровергнуть? Только выходя из него, беря его измором, образуя государство в государстве — самостоятельное, начиная с идеи и кончая средствами борьбы за идею» (Эрнст Юнгер)⁹⁶. Однако сами мятежники, как правило, начинают с объявления себя единственной законной властью. «Они борются с

⁹³ Розеншток-Хюсси О. Указ. соч. С. 387.

⁹⁴ Арендт Х. О революции. С. 218.

⁹⁵ Шпанн О. Указ. соч. С. 224—226.

⁹⁶ Юнгер Э. Националистическая революция. М., 2008. С. 80 ; Мюллер Я. В. Споры о демократии. М., 2017. С. 179.

государством, по их мнению, обладающим лишь внешними признаками законности, и поднимают свое красное знамя как символ силового восстановления подлинного порядка». Их представители уже готовы захватить власть в тот самый момент, когда ее выпустят из рук агенты старой власти, так что, по сути, «государство как таковое никогда не знает перерывов»: поэтому даже в «диктатуре пролетариата» все еще слышны глухие отголоски старого режима»⁹⁷. (Так, сохранение прежних порядков после революционных переворотов Средневековья показалось Фюстелю де Куланжу лишь продолжением того же исторического процесса, который совершался еще в Римской империи: «Правление Меровингов больше чем на три четверти есть лишь продолжение того, что дала Галлии Римская империя»). Даже во времена величайших революций задача и роль сохранения старых учреждений и государственных понятий всегда оставалась по-настоящему значительной: государственность всегда продолжала существовать, даже тогда, когда уходило государство.

Позитивным выражением революции, привлекающим к ней даже симпатии демократов, является ее открытый, «натуральный» характер, ведь она подобна стихийным пожарам и землетрясениям.

Революция заново творит публичное право, общественный порядок, общественный дух и общественное мнение, даже формирует частные привычки и чувства. Сама же она существует в некоем «незащищенном, неисследованном и неорганизованном пространстве», которое цивилизация «ненавидит как геенну огненную — вероятно, это пространство находится где-то недалеко от ада», ведь и сама революция пытается возродить общественный порядок с помощью вмешательства небесных сил: «Ад близок с небесами». Революции врываються в структуру общества как бы снаружи, тем самым доказывая существование открытого и дикого пространства, о котором забывают законопослушные люди, которых пугает революция; но ведь и ни одна держава не получает свою власть непосредственно от законов: сначала возникает власть, все остальное вырастает уже из нее»⁹⁸. Историческая необходимость и

насилие в их угрожающем сочетании становятся отличительной чертой всех успешных революций. Революция — всегда только следствие, но никак не причина краха предыдущего политического режима.

Тирания же в понимании революции всегда оставалась такой формой правления, при которой государь, даже если он и руководствовался законом, монополизировал право политического действия, изгнав граждан из публичной сферы в частную сферу существования. С древних времен публичность рассматривалась как неперемный элемент демократии. Частная же сфера существования на ее фоне выглядела как политически индифферентная, а в эпоху революционной мобилизации или тотальности — даже политически опасной. Но именно государство и старалось отвести публичность из политического пространства, заменяя ее социальностью и управленчеством. При этом оно использовало собственно публичные атрибуты, такие как общественное мнение и выборные техники. Под этим давлением индивид часто и с готовностью уступал свои позиции целому, тотальности: Х. Арендт была убеждена, что связь проблемы всякого политического «начала» с феноменом революции очевидна; и как ни печально, но в начале любого длящегося и значимого политического порядка лежит преступление — парафразом этого положения у Гоббса выступает пресловутое «естественное состояние».

И только уже после революции любая нереспубликанская форма правления стала напрямую отождествляться с деспотизмом: люди в XVIII в. полагали, что только конституция способна очертить границы своей политической сферы и обозначить действующие в ней правила, сможет основать новое политическое пространство, в котором будет культивироваться «стремление к публичному счастью»⁹⁹.

Народ, нация — эта изначальная сила всякого государственного образования — учреждает новые органы: «из бесконечной непостижимой бездны ее власти возникают все новые формы, которые она может в любой момент разрушить и которыми власть эта никогда не бывает окончательно определена». Содержание «воли нации», этой великой фикции приобретает такую

⁹⁷ Сорель Ж. Указ. соч. С. 167—169.

⁹⁸ Розенток-Хюсси О. Указ. соч. С. 385—386.

⁹⁹ Арендт Х. О революции. С. 172—177.

же правовую ценность, как и содержание формализованных конституционных положений, поэтому она и может осуществлять свое политическое вмешательство в жизнь в форме юридических или фактических актов: нация не создает себя, она уже пребывает в естественном состоянии, создавая нечто другое, поэтому ее учредительная власть ничем не связана¹⁰⁰.

В свое время Густав Лебон, правда, стал утверждать, что романтическая вера в прогрессивные и революционные инстинкты массы и толпы глубоко ошибочны. В действительности же устремления масс всегда чрезвычайно консервативны (а потому «распространение социализации и социализма — ничто иное, как результат морального упадка буржуазии»), массы с большей готовностью пойдут как раз за «цезарем»: свои страдания они искренне считают следствием «темного прошлого», полного жестокости, невежества и насилия, и наивно верят, что именно «гений вождей может уменьшить их несчастья».

Демагоги с готовностью внушают им мысль, что лучшее средство для этого заключается в использовании силы государства, «чтобы его донимать богатых — таким образом зависть переходит в месть»¹⁰¹. (Воображение толпы перемалывало любые слухи, слухи и бунты были неразделимы. Слухи порождали предварительное беспокойство, а сами питались различными страхами и угрозами. Призрак заговора бродил по Франции уже в первые годы революции¹⁰². Оказалось, что достаточно «небольшого числа террористов, чтобы оказывать давление на большие массы людей: к узкому пространству открытого террора вскоре добавляются дальнейшие пространства ненадежности, страха и всеобщего недоверия, “ландшафт измены”, — глубокая путаница ландшафта измены способствовала тому, что все границы легальности и легитимности бесповоротно расплывались»¹⁰³.

Враг видится толпе повсюду, ведь она по своей сути весьма подозрительна. Она больше не желает никому подчиняться, но все равно ищет новых вождей, без которых не может существовать: государственные перевороты

только активизируют эту массу. (Всякая государственно-политическая революция в первой своей стадии характеризуется угасанием громадного количества реакций повиновения у значительной части граждан, «условной связи между стимулами повиновения в лице агентов власти (полицейского, короля), их актов и символов, с одной стороны, и соответствующими реакциями повиновения со стороны граждан, с другой — разрываются» (Питирим Сорокин)¹⁰⁴: насилие и террор в этих условиях демонстрируются обеими сторонами — государственный терроризм своей жестокостью ничем не отличается от терроризма толпы.

«Революция всегда начинается сверху, чтобы затем уступить место переворотам снизу» (О. Шпенглер). «Всеобщие» права издавна предоставлялись тем, кто даже и «не думал их требовать, ведь равные права в принципе противоречат природе», и нелепо было стремление заменить чем-то иным то реальное общественное устройство, которое складывалось столетиями и скреплялось традицией. (Но масса всегда стремится даже не улучшить, но разрушать; ее связывает какое-то «неясное чувство мести за какую-то историческую неудачу, испортившую жизнь» и отсутствие всяческих чувств чести и долга: нарождающийся нигилизм требует себе прав без обязанностей, да и сами эти права предназначаются не для народа, а для самозванных «народных представителей»¹⁰⁵). Тот, кто формально домогается полной свободы, достигает ее лишь ради своего возвращения к некоей фатальной отправной точке, — к своей «изначальной поработченности», врожденные зло и мания величия делают здесь свое дело. Отсюда и уязвимость развитых полисов так же, как и аморфных масс, лишенных кумиров и идеалов, но избавленных от спасительного фанатизма и органических связей: «Единственная мечта, на которую они еще способны, — безопасность и догмы ига».

Демократические режимы всегда обладают одним серьезным пороком уязвимости: они позволяют «первому встречному нацелиться на власть». Ослепленная своим будущим гу-

¹⁰⁰ Цит. по: Шмитт К. Диктатура. С. 163—164.

¹⁰¹ Сорель Ж. Указ. соч. С. 134, 162—163.

¹⁰² См.: Делюмо Ж. Ужасы на Западе. М., 1994. С. 149—151.

¹⁰³ Шмитт К. Теория партизана. М., 2007. С. 43.

¹⁰⁴ Сорокин П. Социология революции. М., 2005. С. 75.

¹⁰⁵ Шпенглер О. Годы решений. С. 90—91.

бителем, демократия не верит больше в свои институты, путается в собственных законах, а законы тем самым «защищают ее врага», вынуждая ее же уйти в отставку. Парадокс республики заключается в том, что посредственности, бессмысленные сторонники которых только и делают возможным ее существование, никак не могут гарантировать ей самой долгую жизнь¹⁰⁶: массе всегда не хватало мудрости и, нарушая даже установленные ею же (через представителей) законы, она теряла последнюю надежду на стабильность и порядок.

Спасительная склонность к политическому и правовому формализму (как это было в республиканском Риме), кажется, действительно могла бы способствовать определенной стабильности государственной формы и позволяла бы избежать анархии. Но с этим оказалась связана серьезная проблема легитимной преемственности: формируя порядок из хаоса, государство, оказавшееся в революционной ситуации, принимало законы, пусть даже репрессивные, которые были уже не в состоянии подчинить массу порядку. Поэтому новое правительство вынуждено было становиться «контрреволюционным» для того, чтобы прекратить эксцессы, порождаемые революцией. Оно искало для себя новых источников легитимности и находило их именно в «стабильности», «порядке» и «законности»: завершающей стадией революции всегда является контрреволюция. (Вильфредо Парето упоминал: «Некоторые наши правительства имели революционные истоки», и поэтому революцию, направленную уже против них самих, осуждать они могут только со значительными оговорками. Власти принимают превентивные меры путем установления некоего «нового божественного права», если восстания против прежних правящих верхов были, с их точки зрения, «легитимными», поскольку они опирались на массовую силу, то теперь же восстания против современных правительств нелегитимны, поскольку их действия основаны только на голом «разуме» и эгоизме: восстание может быть легитимным, только будучи направленным против короля и олигархий, но не против «народа».) Все правительства на практике применяют силу, и все они при этом уверяют, что опираются на разум: «На самом

деле, как при всеобщем избирательном праве», наличие которого как бы исключает необходимость новых восстаний, «так и без него, всегда правит некая олигархия», и она-то умеет как следует преподнести свою волю как выражение «воли народа»¹⁰⁷. При этом правящий класс преимущественно довольствуется настоящим и мало заботится о будущем: отдельный эгоистический индивид явно превалирует здесь над общностью и нацией. «Освобождая» индивида, революция создает для общества только новую форму господства.

Тем временем революционная утопия задыхается в рождающихся жестких институциональных структурах, пафос революции затвердевает в идеологиях. Революционная размашистая в своих движениях политическая машина жестко ограничивается рамками порядка и законодательства. Что-то глубинное и исконное переформирует революционный хаос в осязаемый и твердый порядок. Диктатура оказывается более реальной, чем идеальная демократическая республика — мечта революционеров. Ж. де Местр заметил: природа и история как бы сознательно соединяются для установления «того, что воображаемая великая неделимая республика есть дело невозможное»: «Никакое великое учреждение не является только результатом обсуждения. Человеческим учреждениям присуща брэнность... И единая и неделимая республика есть лишь мимолетный метеор... Непобедимой природой установлено, что в политике, как и в физике, опыт должен решать все и заставить молчать самые прекрасные теории. А опыт доказывает, что “великая республика” есть “дело невозможное”: между теорией политики и законодательством существует такая же разница, как между поэтикой и поэзией».

Нелепо было бы предполагать, что конституция, т.е. совокупность основных законов, которые должны снабдить нацию конкретной формой правления, представляет собой такое же произведение, как любое иное; что можно обучиться «ремеслу основания», что некое собрание способно даже учредить нацию. Конституцию в этом случае принимают за правление, и ее нарушают или соблюдают в зависимости только от интересов правителей. Однако в республике закон хочет учредить

¹⁰⁶ Сиоран Э. Указ. соч. С. 303.

¹⁰⁷ Парето В. Компедиум по общей социологии. М., 2008. С. 351.

даже совесть каждого подданного как «публичную совесть, противопоставленную тому, что происходит в тайниках его души» (Гоббс).

Что же касается представительной системы, рожденной революцией, то вообще-то она, считал Ж. де Местр, действительно является неким искусственным произведением, но также и частью реального феодального правления, достигшего той точки зрелости и развития, когда «оно превратилось в одно из самых совершенных». Сторонники же замышлявшейся «великой республики» хотели бы доказать, что усовершенствованное представительство и есть настоящее благо, но еще и то, что народ, благодаря этому средству, может сохранить свой суверенитет и цельность своей республики.

Однако на деле представительная система вообще исключает отдаление суверенитета, а права народа ограничиваются лишь «назначением тех, кто назначает»: народ же не только не может самостоятельно предоставить особые полномочия своим представителям, но сам «закон коварным образом озабочен разрывом всякой связи между ними, напоминая только, что они представляют лишь тех, кто их послал: “посланцы нации” — удобное слово для законодательства, рассчитанного на истребление прав народа»¹⁰⁸. (Сиоран с чувством глубокого пессимизма дополняет эту мысль де Местра о «народе и революции»: народ как таковой представляет собой приложение к деспотизму... Так как революция является для него единственной роскошью, он устремляется в нее. Причем даже не ради улучшения своей судьбы, но чтобы «обрести право быть наглым», преимущество, которое утешает его и которое он быстро теряет после устранения привилегий смутного времени: никакой режим не обеспечивает ему спасения и избавления, поэтому народ приспосабливается к любому и не приемлет никакого¹⁰⁹.)

В процессе уравнивания все подлежит сведению к безразличному эквиваленту. И эта настоящая «релятивистская форма тирании ценностей дает образ подлинного завершения революционных утопий». Но эти утопии все же успевают повлиять на правовую традицию, утверждая, что «другой в своей инаковости всегда образует агрессора, подлежащего унич-

тожению»: только посредством наложения запрета на все несхожее революционная мысль намеревалась достичь реального равенства¹¹⁰, ведь равенство всегда устраняет свободу. Революционные законы «о подозрительных», «врагах народа» или о «красном терроре» объектом для своей защиты называли «общество», «нацию» или «революцию», тем самым легальным образом разделяя общество на «друзей и врагов»: революция всегда апеллирует к массам, даже на стадии государственного переворота. Она заботится о слабых и униженных, прежде всего ее занимает вопрос об их численности — их всегда должно быть больше: «партия большинства» всегда на стороне революции, и только тогда переворот становится революцией.

Это большинство, выходя из мира «старого порядка», перемещается в «новый мир», обещанный революцией. Означает ли это, что субстанция нового порядка остается идентичной той, что питала старый порядок? Эта масса называется «обществом», не совпадающим, однако, с государством, ни в старом, ни в новом его облачении. Но эта же консервативная масса («политическое болото») как раз и обеспечивает сохранение самих основ государственности, которая над ней возвышается, трансформируется, но сохраняет свою сущность «надстройки».

Общество — это настоящая причина появления в политическом пространстве «черни» как особого политического фактора. Появление той толпы, той массы, той черни, которая сохраняет по отношению к государству негативную точку зрения, которая образует... партию, оппозицию не в том, что касается детальных вопросов техники управления, но относительно самого фундамента государства. Само общество неизбежно порождает эту «чернь». В тех случаях, когда жизнь большой массы людей оказывается ниже известного уровня существования... и это ведет к потере чувства права, правомерности и чести обеспечивать свое существование, возникает «чернь», что, в свою очередь, способствует концентрации несметных богатств в немногих руках. (Пролетариат не из одной только голой озлобленности не желает быть причастен к делам «государства и не из-за врожденных предрассудков, — он

¹⁰⁸ Местр Ж. де. Указ. соч. С. 148.

¹⁰⁹ Сиоран Э. Указ. соч. С. 247—248.

¹¹⁰ Каччари М. Указ. соч. С. 127.

в принципе не имеет отечества и ему недостает чувства собственного достоинства, он не подчиняется законам нравственности. Общество таково, что оно само по себе неизбежно порождает это зло, и это зло сохраняется до тех пор, пока государство не сможет с целью реализации свободы предоставить разumnую организацию признания всех всеми»¹¹¹.)

В самых свободных государствах, как и в самых репрессивных тираниях, всегда обнаруживается некий консенсус, согласие, и они всегда условны и изменчивы. Власть и свобода неотделимы, хотя крайности либерализма и деспотизма остаются и здесь. «Свобода оспаривает авторитарность, хотя без нее самой свободы и не было бы. Власть подавляет свободу, но все же терпит ее, ибо без свободы не было бы власти». (В любом государстве каждый может оказаться то подданным, то сувереном, и уйти от этого диалектического закона не властны даже монархи, которые сами часто сетовали на отсутствие свободы.) Демократизм же всегда неизбежно вызывал устойчивую тенденцию на усиление политического веса массы народа, плебса в системе консультативных органов и в области принятия решений. «Якобинство» обозначило этот устойчивый практический образ действий, развиваясь от «абстрактного идеала к реальному насилию» (но поскольку «якобинцы» используют преимущественно насилие, то они поэтому всегда так недолго удерживаются у власти).

Эгалитаризм как принцип, положенный в основание государства, может быть реализован только в форме автаркии. В рамках этой гипотезы государство возникает как бы из ничего — где каждый индивид, который «сам себе государство», и может существовать лишь в мифологической форме «Свобода» и «братство», вытекающие из равенства, остаются только пустыми формами, открытыми для любого произвола: новая эгалитарная теория не имеет опоры в политических отношениях¹¹². В индивидуалистическом эгалитаристском обществе его основы, содержание законов и сущность власти вновь становятся преимущественными объектами публичных дебатов (Д. Кортес говорил, что «либеральная демократия — это вообще непрекращающаяся дискуссия»), но

вместе с этим приходит и эра социального насилия, которое становится фактором взаимной адаптации общества и государства, «массовое насилие становится жизненно необходимым для их функционирования».

Все, что прежде было связано с верховной ролью органической коллективности и ролью, которая мешала насилию разрушить его устройство, утрачивает неприкосновенность. Индивид больше уже не является средством для достижения некоей отдаленной и великой цели, амбициозно считая самого себя настоящей целью, а социальные институты утрачивают свою «благодатную сакральную ауру, обусловленную ненарушаемой трансцендентностью». Идеология тогда заменяет религию, сохраняя при этом ее абсолютный и страстный характер. Общество оказывается направленным против государства, что вызывает ответную реакцию: «Террор как новый вид правления с помощью массового насилия... возникает внутри новой идеологической конфигурации, порожденной принципом верховенства изолированной личности».

Государство в соответствии с идеалами демократии, провозгласив себя частью общества, на самом деле вполне может лишить его легитимности, развернув неслыханную кампанию репрессий. Даже отказ государства от символов могущества еще не гарантирует его искреннего отказа от формы диктатуры, которую вполне можно рассматривать уже как возврат к монархическим порядкам, как компромисс между системой с присущей ей жестокостью и обезличенной демократической властью¹¹³.

После своего революционного превращения государство остается все тем же, чем оно было всегда — самодостаточным субъектом, мало заботящимся об окружающих и сосредоточенным на собственном интересе: самое «холодное из чудовищ», обнаруженное Ницше, имеет свойство постоянно возвращаться.

Воображаемая государственность характеризуется тем, что способна реально порождать нормы жизни, институции и проблемы. Политическое мышление, особенно в переходные революционные эпохи, рождает монстров, с которыми людям приходится иметь дело долгие годы. Разрывы и изломы общественной

¹¹¹ Вейль Э. Указ. соч. С. 181—182.

¹¹² Кроче Б. Указ. соч. С. 107—109.

¹¹³ Липовецки Ж. Эра пустоты. СПб., 2011. С. 308—311.

жизни — это одновременно результат и почва для политического воображения. Благодаря ему мы оказываемся в перманентном чрезвычайном положении и ситуации «вялотекущей бескровной войны». Вся человеческая история проходит от одной революции к другой, будь

это революции «культурные», «религиозные», «промышленные» или «политические». Воображаемое делает жизнь борьбой и непрерывным движением. Тем же, кто надеется на спокойное и стабильное существование, следует вспомнить Гераклита.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агамбен Дж. Средства без цели. — М., 2015.
2. Акстон Дж. Очерки становления свободы. — М., 2016.
3. Арендт Х. О революции. — М., 2011.
4. Батай Ж. Структура и функции армии // Коллеж социологии. — СПб., 2014.
5. Бенъямин В. К критике насилия // Учение о подобии. — М., 2012.
6. Вейль Э. Гегель и государство. — СПб., 2009.
7. Гурвич Г. Д. Магия и право // Философия и социальное право. — СПб., 2004.
8. Делюмо Ж. Ужасы на Западе. — М., 1994.
9. Доусон К. Г. Боги революции. — СПб., 2002.
10. Ильин И. А. О революции // Ильин И. А. Собр. соч. — М., 2001.
11. Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз. — М., 1998.
12. Канетти Э. Масса и власть. — М., 1997.
13. Каччари М. Геофилософия Европы. — М., 2004.
14. Малапарте К. Теория государственного переворота. — М., 1998.
15. Манн Т. Размышления аполитичного. — М., 2015.
16. Мережковский Д. Царь и революция. — М., 1999.
17. Московичи С. Век толпы. — М., 1996.
18. Мюллер Я. В. Споры о демократии. — М., 2017.
19. Парето В. Компедиум по общей социологии. — М., 2008.
20. Проди П. История справедливости. — М., 2007.
21. Радбрух Г. Философия права. — М., 2004.
22. Робин К. Страх. История политической идеи. — М., 2007.
23. Сегеле С. Преступная толпа. — М., 1998.
24. Сорель Ж. Размышления о насилии. — М., 2013.
25. Сорокин П. Социология революции. — М., 2005.
26. Фуко М. Безопасность, территория, население. — СПб., 2011.
27. Шмитт К. Теория партизана. — М., 2007.
28. Шпанн О. Философия истории. — СПб., 2006.
29. Шпенглер О. Годы решений. — М., 2006.
30. Штраус С. О тирании. — СПб., 2006.
31. Эллюаль Ж. Политическая иллюзия. — М., 2003.
32. Юнгер Э. Националистическая революция. — М., 2008.

Материал поступил в редакцию 18 января 2017 г.

THE STATE IN REVOLUTION: IMAGINARY TRANSFORMATIONS

ISAEV Igor Andreevich — Doctor of Law, Head of the Department of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Honored Worker of Science of the RF
kafedra-igp@mail.ru
125993, Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya Str., 9

Review. The article examines the most important aspects of the process that is commonly called Revolution. In this process, statehood is undergoing transformations in which the state interest as the essence of the State causes, inspires, through a series of coups and transformations, and develops more and more new forms, even though the phenomenon itself remains

unchanged. A state coup, dictatorship, states of emergency and terror remain the major stages of the revolutionary transformation being carried out in various historical contexts. Legality as an external form of a process remains relevant at different stages changing its normative shape. Legitimacy is in the constant search for its source, completing it within the boundaries of statehood. An important tool for transformations includes violence that successively takes the form of "divine," "mythological," normative and enforcing the regime of dictatorship (an emergency situation that acquires a chronic, permanent nature) by necessary means. "Sovereign" dictatorship is opposed to "Commissar" dictatorship, and sovereign violence, as constitutive one, is opposed to law-supporting violence. Legal aspects of the revolutionary process appear to be the most articulated and significant, which should attract attention of historians of revolutionary events and ideas.

Keywords: law, legitimacy, lawfulness, legality, violence, terror, public interest, coups d ' état, sovereignty, dictatorship, democracy, monarchy, governance, power, publicity, law.

BIBLIOGRAPHY

1. Agamben, Giorgio. Means without purpose. M., 2015.
2. Acton. Essays on Freedom. M., 2016.
3. Arendt, Hannah. About Revolution. M., 2011.
4. Bataille, Georges. The Structure and Functions of the Army // College of Sociology. St. Petersburg, 2014.
5. Benjamin, Walter. Criticism of Violence // The Doctrine of Similarity. M., 2012.
6. Weyl, Herman. Hegel and the State. St. Petersburg, 2009.
7. Gourvitch, G.D. Magic and Law // Philosophy and Social Law. St. Petersburg, 2004.
8. Delano, J. Horrors in the West. M., 1994.
9. Dawson, Christopher Henry. Gods of Revolution. St. Petersburg, 2002.
10. Ilyin I.A. On the Revolution // Collected works. M., 2001.
11. Cabanes, Augustin, Nass, Leonard. Revolutionary neurosis. M., 1998.
12. Canetti, Elias. Mass and Power. M., 1997.
13. Cacciari, Massimo. Geophilosophy of Earth. M., 2004.
14. Malaparte, Curzio The Theory of the State Coup. M. 1998.
15. Mann, Thomas. Reflections of an Apolitical. M., 2015.
16. Merezhevsky, D. The King and the Revolution. M., 1999.
17. Moscovici, S. The century of the crowd. M., 1996.
18. Muller, Ya.V. Disputes about democracy. M., 2017.
19. Pareto, Wilfredo. Compendium in General Sociology. M., 2008.
20. Prodi, P. The History of Justice. M., 2007.
21. Radbruch, G. Philosophy of Law M., 2004.
22. Robin, C. Fear. History of a political idea. M., 2007.
23. Sighele, S. A Criminal Crowd. M., 1998.
24. Sorel, Georges. Thinking about Violence. M., 2013.
25. Sorokin, P. Sociology of Revolution. M., 2005.
26. Foucault, Paul-Michel. Security, territory, population. St. Petersburg, 2011.
27. Schmitt, K. The Theory of a guerrilla. M., 2007.
28. Shpann, O. Philosophy of history. St. Petersburg, 2006.
29. Spengler, O. Years of Decisions. M., 2006.
30. Strauss, S. About Tyranny. St. Petersburg, 2006.
31. Ellul, Jacques. Political illusion. M., 2003.
32. Jünger, E. Nationalist revolution. M., 2008.